

A romantic winter scene featuring a man and a woman in period clothing. The man, on the left, has a beard and is wearing a dark blue coat with a large fur collar, a brown vest, and a dark bow tie. He is petting a brown and black dog. The woman, on the right, has long brown hair and is wearing a light-colored lace dress with a large fur capelet. She is holding a silver plate filled with fresh strawberries. The background is a snowy outdoor setting with a green building and warm lights. The overall mood is cozy and romantic.

Вивьен
Ламур

ТЕПЛИЦА ДЛЯ ПОПАДАНКИ

Ягодка для барина

Вивьен Ламур

**Теплица для попаданки.
Ягодка для барина**

«Автор»

2026

Ламур В.

Теплица для попаданки. Ягодка для барина / В. Ламур —
«Автор», 2026

Что ты будешь делать, если проснешься не в своей постели, не в своем времени и не в своем теле? Вчера я была агрономом в XXI веке. Сегодня стала беспамятной незнакомкой, которую вытащили из снежного оврага в царской России. Хозяин усадьбы дал мне кров, но его взгляд полон вопросов. Его люди шепчутся. А его свирепый пес Шайтан смотрит на меня так, будто узнал родственную душу. Я не помню своего прошлого. Но я знаю то, чего не должна знать простая девушка: почему гниет урожай и как его спасти. Моя правда здесь смертельно опасна. А мои знания – единственный шанс выжить. Меня вырвали из будущего и бросили в прошлое. Теперь мое оружие – наука в мире суеверий. И ставка в этой игре – уже не память, а сама жизнь.

© Ламур В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Вивьен Ламур

Теплица для попаданки. Ягодка для барина

Глава

Глава 1. Находка
(Николай Каменев)

Ветер свистел в ушах, выхватывая слезы и загоняя их в воротник. Мой конь Норд, в полном послушании, гудел глубоким, частым дыханием: звук, от которого всегда замирало сердце. Лес позади, впереди бесконечное заснеженное поле, искрящееся на низком декабрьском солнце. Чистый, звенящий простор.

Впереди мчался Шайтан, его рыже-коричневая шкура ярким пятном резала снежную белизну поля. В движении он казался сгустком дикой, неукротимой энергии.

Вот он перехватил старый заячий след, кружил, сопел, но зверя не поднимал. Я не торопился, наслаждался скачкой, холодным воздухом, прожигаящим легкие, этой дикой, животной свободой. На душе было пусто и ясно, как этот зимний день. Просто я, конь, собака и земля. Лучшего лекарства от любой хандры, счетов управляющего и разговоров с землемерами не придумать.

И тут Шайтан резко свернул с линии, рванул к старому оврагу на краю поля и скрылся в кустах ольшаника. Я уже мысленно ругнулся: опять какая-нибудь падаль, тухлятиной потом пропахнет на всю псарню. Но лай раздался не охотничий, не азартный. Он был... требовательным. Звонким, настойчивым, таким, каким он звал меня, если теленок в канаву свалится. Не «нашел», а «смотри».

«Что у тебя там, черт?» — буркнул я, направляя Норда к оврагу.

Спустился по склону, спешился, привязал коня к ольхе. Шайтан стоял на краю небольшого углубления, заваленного прошлогодним хворостом и листьями, и, задирая морду, продолжал выть. Он не бросался, не кидался: он показывал.

— Уйди, дурной, — прикрикнул я, подходя. — Чего разорался?

Он виновато помахал хвостом, но не отходил. Я отодвинул валежник сапогом. И замер.

В ямке, на подстилке из гнилых листьев, свернулась калачиком какая-то серая куча тряпья. Нищенка, что ли? Бродяжка? Голову прикрывала руками. Волосы, темные от грязи, слиплись. Рванный платок сполз на плечи.

— Эй! — окликнул я, не очень громко. — Ты жива?

Куча дрогнула. Шайтан тихо взвизгнул. Я присел на корточки, осторожно дотронулся до плеча. Оно было костлявым под тонкой, дырявой тканью. Тряпье пошевелилось, и из-под руки на меня глянули глаза. Огромные, неестественно яркие на бледном, испачканном лице. Полные такого животного ужаса, что у меня сердце екнуло. Как у загнанного зверька, попавшего в капкан.

«Ну точно, беглая. С какого-то хутора, от хозяина злого», — мелькнула мысль.

Но я уже присматривался. Лицо, несмотря на грязь и синеву от холода, было не грубое, не широкое. Нос тонкий. А рука, которой она прикрывалась... Грязь под ногтями была, да, но сами пальцы длинные, тонкие, без привычных для работниц раздутых суставов и трещин. И в прорехе на рукаве, у самого плеча, где ткань разошлась по шву, видна была кожа. Не красная, не обветренная, не загорелая. А белая. Совершенно, нелепо белая. Как у младенца. Или у барышни, которая из своих покоев дальше балкона не выходит.

Вот это уже совсем ни в какие ворота не лезло.

Страх в ее глазах сменился пустым, стеклянным непониманием. Она явно с трудом фокусировала взгляд.

— Не бойся, — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, ровно. Как с испуганной лошадей. — Зла не причиню. Кто ты? Как сюда попала?

Она открыла рот. Губы посиневшие, потрескались. Послышался сип, потом сдавленный звук.

— Ли... Лиз...

Больше она выжать не смогла. Ее била такая дрожь, что зубы выстукивали дробь. Вопросы могли подождать. Еще немного, и тут же замерзнет насмерть.

Я скинул с себя охотничий плащ-накидку из толстого сукна, не раздумывая завернул ее в эту тяжелую, теплую материю. Она даже не сопротивлялась, только слабо всхлипнула, когда я легко поднял ее на руки. Весила она как пустое ведро: одна кость да кожа.

Норд, почуяв незнакомца, насторожил уши, но стойко принял двойную ношу. Я вскочил в седло, усадил ее перед собой, прижал к груди, пытаюсь согреть. Она безвольно обмякла, голова упала мне на плечо. От нее пахло лесом, сырой землей и чем-то еще: простым, человеческим страданием.

— Держись, — пробурчал я уже больше себе, чем ей, и тронул Норда в повод.

Конь осторожно выбрался из оврага и, почуяв дорогу домой, пошел резвой рысью. Шайтан мчался впереди, оглядываясь, как бы проверяя, следуем ли мы. Если бы не этот пес со своим «смотри» ... Мы проскакали бы мимо. И все.

Мы въехали во двор. Я крикнул, еще не слезая:

— Пелагея! Бери людей, живо!

На крыльцо выскочила, крестясь, моя старуха-экономка.

— Батюшки-светы, барин, кого это ты?..

— Молчи, не до вопросов сейчас! — рывкнул я, сползая с седла и снимая с коня сверток в плаще. — Беги, постель в гостевой готовить и топить, горячей воды, бульону! Замерзающая.

Пелагея, бурча что-то про «неслыханное дело» и «на свою голову», засуетилась, зовя кухарку и горничную. Я передал Лизу, как она назвалась, через порог, прямо в растерянные, но привыкшие к моим причудам руки слуганок.

— Отогревать. Потихоньку. И смотреть в оба, — отдал я последнее распоряжение, чувствуя, как адреналин скачки и этой странной находки начинает отступать, оставляя лишь легкую дрожь в коленках.

Шайтан, довольный, улегся на коврик у двери, положил морду на лапы и уставился на меня умными, все понимающими глазами.

— Ну что, наохотился? — спросил я его, снимая мокрые перчатки. — Нашел нам заботу на всю зиму.

Он вильнул хвостом, как будто говоря: «А то! Интересная же зверушка попалась».

Глава 2. В руках Пелагеи (Лиза)

Последнее, что я помнила – это отчет на компьютере. Контрольная панель теплицы, цифры влажности на мониторе. В глазах резко потемнело. Не больно. Просто будто выключили свет. И тишина.

А дальше – вот это. Очнулась от того, что каждая кость ломит, а мышцы не слушаются. Я лежала в какой-то яме, засыпанная хламом. Попыталась пошевелиться – не вышло. Суставы скрипели, будто их ржавчиной намертво заклинило.

Мысли метались, лихорадочные, обрывистые. Где я? Что случилось? Меня... ударили? Ограбили? Увезли и бросили? Страшно. Но еще страшнее было это полное бессилие. Как будто из меня выкачали всю энергию и даже волю.

Я смогла только повернуть голову и осмотреть себя. И ужаснулась.

На мне была какая-то странная, грязная одежда. Не моя. Совсем. Похожа на костюм бомжа: грубая ткань, юбка, все в дырах и в грязи. Я попыталась сжать руку в кулак. Пальцы слушались плохо, но я их разглядела. Тонкие, слишком длинные. Чужие руки. Во мне все кричало, что это не мое тело. Да, я была стройной, но... не такой. Это была не я. Паника подкатила комком к горлу.

И тут – лай. Где-то совсем рядом. Громкий, злой.

Я замерла, вжалась в листья. Сердце колотилось где-то в висках. Сверху показалась собачья морда. Большая, рыжая. Она принюхалась, не рычала, а смотрела на меня с каким-то... любопытством.

Потом – шаги. Человек.

Он склонился надо мной. Мужчина. Лицо строгое, уставшее, но без злобы. Одет он был... ну совсем как на исторической реконструкции. Длинный плащ, сапоги, странная шапка. Усы.

«Боже, — мелькнула дурацкая мысль сквозь ледяной туман в голове. — Может, тут кино снимают?»

Он что-то сказал. Голос был низкий, спокойный. Я не разобрала. Открыла рот, чтобы попросить о помощи, объяснить, что я тут случайно, что меня, наверное, похитили. Но из горла вырвался только хрип. Язык не слушался. Зубы стучали так, что, казалось, расколются.

— Ли... Лиз... — выдавила я наконец. Свое имя. Больше ничего не получалось.

Он скинул с себя плащ и завернул меня в него. Материя была тяжелая, пахла конем, лесом и... чем-то безопасным. Потом он легко поднял меня, как перышко. Это было унинительно и невероятно удобно. У меня не было сил даже голову держать.

Дальше – конь. Настоящий, огромный, из-под которого валил пар. Мужчина вскочил в седло, усадил меня перед собой, прижал. Тепло от его тела било через толстую ткань. Я обмякла. Мы понеслись.

Ветер бил в лицо. Поле, лес, снег – все промелькнуло залихватской каруселью. Никаких камер, гримерок, режиссеров. Все было настоящее. Слишком настоящее. От этой мысли стало еще страшнее.

Потом дом. Большой, деревянный. Суета.

— Пелагея! Бери людей, живо! — крикнул мой спаситель.

На крыльцо выбежала пожилая женщина в темном платье и белом чепце. Увидев меня, она испуганно закрестилась.

— Батюшки-светы, барин, кого это ты?..

Объяснений не последовало. Меня, как куль, передали с рук на руки.

— Отогреть. Потихоньку. И смотреть в оба, — бросил на прощание мужчина и, кажется, ушел.

Меня понесли по темным сеням, вверх по скрипучей лестнице, в комнату. Пахло деревом, воском и чем-то печным.

— Ну-ка, ну-ка, родимая, — засуетилась вокруг меня та самая Пелагея. — Совсем заledenела, бедовая. Анютка, воды горячей! Мавра, простыни сухие!

Меня посадили на стул. Руки дрожали так, что я не могла их удержать. Пелагея, не церемонясь, принялась стягивать с меня грязные лохмотья.

— Н-не надо... — попыталась я протестовать, но голос был слабый, а ее руки твердые и быстрые.

— Молчи, молчи, — отрезала она. — Сама видать не можешь. В этой грязище да на холоде еще час и конец. Смерть свою снимай, милая.

Одежда, грубая и влажная, отпала. Я сидела, сгорбившись, пытаюсь прикрыться руками. Мне было стыдно, неловко и безумно холодно даже в теплой комнате.

— Ишь ты, косточки-то одни, — покачала головой Пелагея, оглядывая меня быстрым, оценивающим взглядом. — И кожа... белая-то какая. Не работница. И руки... не труженицы. Она что-то подозревала. И это было видно.

Потом принесли таз с водой. Пар от нее поднимался белым облаком.

— Мыться будем, — объявила Пелагея, доставая кусок серого, сильно пахнущего мыла. Я взглянула на воду, на мыло. Инстинктивно поднесла руку к тазу, чтобы проверить температуру.

— Горячо? — спросила я, и мой голос прозвучал хрипло, но уже четче.

Пелагея на секунду замерла, уставилась на меня.

— Тепленькая, не обожжешься, — сказала она медленно, как будто удивляясь самому факту моего вопроса. — Чего проверяешь? Небось, мыться-то умеешь?

Я кивнула, не находя слов. Она намочила тряпку, натерла ее мылом и без лишних нежностей принялась оттирать мне лицо, шею, руки. Грязь сходила полосами, обнажая кожу. Я смотрела на свои руки в тазу. Чужие руки. Длинные пальцы, тонкое запястье. У меня заныло в груди.

Пелагея мыла молча, только иногда цокая языком.

— И как ты, голубушка, в таком виде по оврагам оказалась? — спросила она наконец, не глядя на меня. — Барин говорит, ты Лизой зваться изволила. Лизонька, значит?

— Лиза, — поправила я машинально. — Меня зовут Лиза.

Мысль пронеслась, ясная и холодная: «Это не съемки. Все слишком натурально. Это другое время. Какой век? Царская Россия, судя по всему. Если я скажу правду – меня или в сумасшедший дом упекут, или на костре сожгут как ведьму. Хотя нет, тогда уже инквизиции не было, но что взять с холопов. Значит, нужно играть. Их правила. Их реальность. А моя правда сейчас – смертельно опасна».

— Ну, Лизонька, — она не обратила внимания на поправку. — Родня-то у тебя есть? Где дом-то твой?

Я замаялась, стараясь выглядеть потерянной, хотя в голове ясно стоял план: «Не помню» – мой единственный козырь. Моя память была полна знаниями о другом мире, но совершенно пуста о прошлом этого тела и о том, как я здесь оказалась.

Было только мое имя, настоящее. И фамилия – Серебрянская – которая сейчас звучала бы здесь дико и могла навлечь бесконечные, опасные расспросы. Нет. Только имя. И больше пока ничего. И дикий страх – не только от потери почвы под ногами, но и от понимания, что любое неверное слово может все разрушить.

— Не помню, — прошептала я, намеренно делая голос слабым, а взгляд отстраненным, будто заглядывая внутрь пустоты. — Ничего не помню. Только... что я Лиза.

Пелагея остановилась, тряпка замерла у моего плеча. Она посмотрела на меня пристально, испытующе. В ее глазах промелькнуло то самое подозрение, смешанное с жалостью.

— Ничегошеньки? — переспросила она тихо. — Ни отца, ни матери? Ни откуда?

— Ничего, — повторила я, и голос дрогнул. От бессилия, от страха, от этой полной потери. И от того, что приходится лгать, чтобы выжить.

Пелагея тяжело вздохнула.

— Господь с тобой, — пробормотала она, снова заскрипев тряпкой. — Ум-то, видно, от холода помутился. Шок, значит. Бывает.

Помывка продолжалась. Меня обтерли грубым, но сухим и теплым полотенцем, закутали в простыню, а потом в длинную, немодную, но чистую ночную рубашу. Потом подали какую-то мутную жидкость в чашке: бульон, пахло курицей и лавровым листом. Я выпила залпом, обжигая язык. Жар разлился по телу, и дрожь понемногу стала отступать.

Меня уложили в постель. Кровать была широкая, с высокой спинкой. Матрас казался непривычно жестким, набитым, наверное, сеном. Но одеяло было тяжелое, шерстяное, и под ним наконец-то стало по-настоящему тепло.

Пелагея поставила на тумбочку у кровати масляную лампу. Пламя колыхалось за стеклом, отбрасывая на стены огромные, пляшущие тени.

— Спи, — сказала она коротко, поправляя одеяло. — Утро вечера мудренее. А завтра... разберемся.

Она хотела уйти, но задержалась в дверях, еще раз оглядев меня своим острым взглядом.

— И не вздумай тут по ночам шастать, — добавила она уже строго. — Барин не любит, когда без спроса шляют. Да и тебе покой нужен.

Дверь закрылась. Я осталась одна. В странной комнате. В чужом теле. В мире, который, судя по всему, отстал от моего на добрую сотню лет.

Я прислушалась. За стеной поскрипывали половицы, доносились приглушенные голоса. Где-то далеко лаяла собака. Наверное та самая, рыжая.

Я стиснула кулаки под одеялом. Все внутри сжималось от ужаса. Но вместе с теплом и едой вернулась какая-то тень мысли, островок сознания. Выжить. Сначала нужно выжить. А потом... потом разберусь. Как разберусь, понятия не имела. Но отступать было некуда.

Я закрыла глаза, пытаюсь прогнать дрожь, которая шла уже не от холода, а от осознания всей безумности происходящего.

Глава 3. Вечерние дела

(Николай Каменев)

Отдав Лизу, как она назвалась, в заботливые и ворчливые руки Пелагеи, я наконец позволил себе расслабиться. Адреналин уходил, оставляя приятную усталость в мышцах и ту самую легкую дрожь в коленках, что всегда накатывает после резкой скачки и неожиданности. В прихожей пахло мокрой собачьей шерстью, снегом и воском. Шайтан, довольный, уже растянулся на своем коврик.

— Ладно, лежебока, — бросил я ему, снимая промокшую насквозь шапку и швыряя ее на вешалку. — Отдыхай. Заработал.

Он лишь пошевелил ухом.

Я поднялся в свои комнаты: спальню и кабинет, что располагались на втором этаже. Дом, построенный еще дедом, был просторным, с высокими потолками, и зимой в нем гуляли сквозняки, но мои покои Пелагея всегда держала в образцовом тепле. Печь в углу мягко потрескивала.

Скинув промокший охотничий сюртук и сапоги, я умылся ледяной водой из кувшина: привычка, оставшаяся со службы. Переоделся в сухое: простые шерстяные брюки, мягкую льняную рубаху, теплые носки. Одежда была не щегольская, но добротная, удобная. В кабинете налил из графина рюмку водки, выпил залпом. Огонь разлился по жилам, завершая процесс отогрева.

Спустился вниз, в столовую: с большим дубовым столом, буфетом и видом в парк. Сейчас за окном уже сгущались синие декабрьские сумерки.

На столе, под льняной салфеткой, меня ждал незамысловатый, но сытный ужин холодея: тарелка щей, гречневая каша с грибами, кусок холодной отварной телятины, соленый огурец да ржаной хлеб. Свой, с моей же мельницы.

Я ел не торопясь, методично, читая свежий номер «Русского слова», что привезли из города. Новости были тревожные: забастовки в Питере, речи в Думе, царь где-то в Царском... Мир за пределами Каменевки будто раскачивался на волнах. Я отложил газету. Моя вселенная была здесь: земля, урожай, скот. И теперь — загадочная девушка наверху.

Закончив, я позвонил в колокольчик. Вошла одна из девушек, Аня, убрала посуду.

— Позови ко мне Анисима Ивановича, — сказал я ей. — Да скажи Пелагее, чтобы зашла, как освободится.

Управляющий мой, Анисим Иванович, появился быстро: подтянутый, седеющий, в неизменном потертом пиджаке. Он отдавал отчетом, цифрами, а пахло от него, как всегда, конюшенной, дегтем и махоркой.

— Садитесь, Анисим Иванович, — кивнул я на стул напротив. — Как дела?

— Все по плану, Николай Сергеевич, — начал он, доставая из кармана потрепанную книжечку. — Молотилка на гумне чинится, к вечеру закончим. На мельнице Тарасыч говорит, подшипник скрипит на валу, к завтраму разберет, посмотрит...

Я слушал, задавая короткие вопросы. Дела шли своим чередом. Зерно на мельницу подвозили, скот в зимних стойлах стоял без падежа. Все было как всегда. И это «как всегда» вдруг показалось мне особенно ценным.

— Спасибо, — прервал я его на отчете о закупке соли. — Теперь другой вопрос. Не слышно ли чего в округе? Не пропадал ли кто?

Анисим Иванович поднял на меня удивленные глаза.

— Как пропадал, барин? Беспаспортных, что ли, урядник ищет? Да нет, тихо. Свои все по пачпортам. Воловьи пруды свои три семьи на зиму приняли, так те вон еще осенью пришли, документы в порядке. Больше никого.

— Не беглых, — уточнил я, выбирая слова. — Девушку. Молодую. Из благородных, судя по всему.

Лицо управляющего стало совсем недоуменным.

— Барышню? У нас в уезде? Да кто ж их, благородных-то, тут считай по пальцам. Свои все на месте. Чай, если б пропала, урядник бы поскакал, земский, вся округа на ушах стояла. Никаких слухов не было, Николай Сергеевич. Честное слово.

Я поверил. Анисим Иванович был человек точный, слухи любил, но проверял. Если он не слышал – значит, действительно не было.

— Ладно, — вздохнул я. — Держи ухо востро. Коли что услышишь – сразу ко мне. А пока у нас в доме появилась... гостья. Найденыш. В овраге под Чертополоховым Шайтан откопал. Совсем замерзала.

— Ох, дело-то какое, — прошептал управляющий, качая головой. — И кто ж ее так...

— Не знаю. Пока не знаю. Она в шоке. Зовет себя Лизой. Поживет тут, оклемается. Ты народу скажи не судачить зря и не пугать ее. Как к гостье относиться.

— Слушаюсь, — кивнул Анисим Иванович, но в его глазах читалось живое любопытство и легкая тревога. Лишний рот зимой, да еще и с тайной – головная боль для хозяйства. Он это сразу просчитал. — Народ-то, конечно, болтать будет...

— Пусть болтают, — отрезал я. — Только чтобы при ней ни слова. И чтобы слуги мои вели себя прилично. Понятно?

— Понятно, Николай Сергеевич. Я все устрою.

Я отпустил его. Следом, постучавшись для виду, вошла Пелагея. Лицо у нее было озабоченное, как после генерального смотра.

— Ну что, няня? Как она?

— Жива, слава Богу, — вздохнула Пелагея, утирая руки о фартук. — Отогрели, отмыли, накормили бульоном. Спит теперь, кажись. Силы нет никакой, одна тень.

— И что скажешь?

Пелагея помолчала, собираясь с мыслями.

— Сказать-то... Девушка странная, барин. Руки барышни, белые, тонкие. Ни мозолей, ни шрамов. А ведет себя... не то чтобы дико, а с умом каким-то нездешним. Воду в тазу рукой пробовать стала, температуру проверять. Виданное ли дело? То ли не доверяет, барин, то ли...

сама не знаю, что подумать. Будто никогда горячей воды не видала и боится обжечься. А с чего бы это барышне бояться? Да и говорит... — она замялась.

— Говорит что?

— Да не так говорит, как смотрит, — выпалила наконец Пелагея. — Взгляд у нее, Николай Сергеевич, не испуганный уже, а... оценивающий. Как будто она не тут, понимаешь? И на вопросы про родню ничегошеньки не помнит. Только имя. Лиза, говорит. А больше – пустота.

«Потеря памяти от шока и холода», — подумал я. Логично. Но в словах Пелагеи звучала неуверенность.

— Может, и вправду не помнит, — сказал я вслух. — Ударилась, замерзла... Случается.

— Может, и так, — неохотно согласилась Пелагея. — Только чувствует мое сердце... неладно что-то. Откуда ей тут, в наших лесах, взяться-то, барышне этакой? Уж не беглая ли какая невеста? Или того хуже...

— Хуже – это как? — нахмурился я.

— Да мало ли что бывает, — уклончиво ответила она, понизив голос почти до шепота. — Кто ее знает, откуда она взялась-то? Холеная, хоть и грязная, в лесу зимнем... Будто из-под земли выросла. Умная очень, сразу видно. А ум без корней, да еще и с такой пустотой в голове... он, барин, не от Бога. Опасливый.

Я сдержал улыбку. Для Пелагеи любая загадка, не укладывающаяся в привычный миропорядок, была «не от Бога» и потенциально опасна.

— Спасибо, няня. Смотри за ней хорошо. Лекарства, если что, травы свои... Ты знаешь. А про «не от Бога» брось. На нее и взглянуть страшно, не то чтобы зло какое замышляла.

— Гм, — фыркнула Пелагея, но смягчилась. — Ладно уж. Господь с ней, с сиротинушкой. Обогрею, выхожу. Авось, память и вернется. А там видно будет.

Она ушла, оставив меня наедине с тишиной опустевшей столовой. Я подошел к окну. Снаружи было темно, лишь в окнах людской светился желтый огонек.

Кто ты, Лизонька? Откуда? И что мне с тобой делать?

Вопросы висели в воздухе, не находя ответа. Я погасил лампу и пошел в кабинет. Работы с бумагами хватало всегда. Но сегодня цифры и счета не шли в голову. Мысленно я уже составлял план на завтра: поговорить с ней, попробовать выяснить хоть что-то. И одновременно отдать распоряжение конюхам, чтобы седлали Норда. Хотелось снова вырваться в поле, в лес, где все просто и понятно. Где нет потерянных барышень с пустотой в памяти и оценивающим взглядом.

Но побег от проблем был временной мерой. Я это знал. Проблема теперь жила под моей крышей. И ее звали Лиза.

Глава 4. Чужое отражение

(Лиза)

Сон не просто пришел, он навалился. Глухой, черной пеленой, без сновидений, без мыслей. Просто провал, как будто тело, отвоевав тепло и приняв пищу, выключило все лишнее на полный ремонт.

Я проснулась от резкого звука. Где-то хлопнула дверь. В густой тишине это прозвучало как выстрел. Я вздрогнула, а сердце рванулось и ухнуло куда-то вниз, пугаясь.

Лежала неподвижно, пытаюсь сообразить, где я. Глаза были открыты, но сознание цеплялось за остатки сна. Потолок. Не мой. Высокий, из темного дерева, с массивной балкой посередине. В воздухе висел слабый, но отчетливый запах воска, печного дыма и... сушеных трав? Не городской запах. Чужой. Не мой потолок. Не моя комната. Мысль ударила не больно, а тупо, как молотом по наковальне: «Ты не дома. И дома у тебя больше нет».

И тут все нахлынуло. Овраг. Собака. Мужчина на коне. Этот дом.

Сердце заколотилось, сдавило горло знакомой паникой. Но она была уже другой: не слепой, а осознающей. Это не просто не мой дом. Я была в другом месте, в другом времени. И в другом теле.

Я медленно, боясь услышать скрип или боль, пошевелила пальцами ног под одеялом. Потом согнула ногу в колене. Все работало. Суставы не скрипели, мышцы отзывались легкой, приятной усталостью, как после долгой прогулки, а не смертельного переохлаждения. Это было... неожиданно. Тело, которое должно было пролежать бог знает сколько в ледяной яме, чувствовало себя почти нормально.

Осторожно приподнялась на локтях. Длинная ночная рубашка сползла с плеча. Я потрогала кожу. Гладкая, чистая. И холодная. Матрас подо мной хрустнул, зашуршал сухой травой. Солома. Набит соломой. Жесткий, колючий, абсолютно чуждый моей памяти о пружинных ортопедических матрасах. Но этот хруст, этот простой, грубый звук, почему-то успокаивал. Здесь все было настоящим. Даже неудобство. Одеяло, тяжелое, шерстяное, пахло овчиной и тишиной. Все настоящим. Кроме меня.

Со двора донеслись голоса. Мужской, басистый, отрывистый: «Тащи сюда, на гумно, чего раззявился!». Женский, визгливый: «Анютка, воду неси!». Скрип полозьев, фыркание лошади, короткий лай. Жизнь. Чья-то большая, чужая, размеренная жизнь шла своим чередом.

Я стянула с себя тяжелое одеяло и осторожно поставила босые ноги на деревянный пол. Он был холодный, но не ледяной. Значит, в комнате топили. Взгляд сам нашел источник тепла: в углу, наполовину встроенная в стену, стояла массивная печь, побеленная известью. Ее округлая боковина говорила о том, что печь топили с другой стороны, но тепло шло и сюда: продуманная система отопления.

Комната была не маленькой, но и не роскошной. Стены из темного бруса, кое-где завешанные домоткаными половиками с незатейливым узором. Окно с массивной деревянной рамой и ситцевыми занавесками в мелкий цветочек.

За окном, затянутым причудливыми морозными узорами, светало. Синевя ночи сменялась свинцово-серым, зимним рассветом, позволяя рассмотреть остальное убранство комнаты: стол, табурет, таз на нем. Возле кровати – ночной столик с той самой масляной лампой, сейчас потушенной. Напротив – тяжелый дубовый сундук с коваными уголками. И.. в простенке между окном и печью висело зеркало. Небольшое, в узкой деревянной раме, стекло слегка волнистое, с темным пятном по краю.

Сердце снова заколотилось, но уже по другой причине. Не от страха. От жгучего, нестерпимого любопытства.

Кто я?

Встала. Ноги держали, хотя в коленях дрожала слабость, а икры ныли. Длинная ночная рубаша путалась вокруг ног. Я собрала полы в охапку и, осторожно ступая, как по канату, подошла к зеркалу.

И замерла.

В волнистом стекле на меня смотрела незнакомка. Девушка. Совсем юная, лет восемнадцати, не больше. Лицо бледное, почти прозрачное, с темными, как синяки, кругами под глазами. От этого глаза казались еще больше: серо-голубые, смотревшие на меня с выражением немого ужаса и вопроса. Прямой нос, высокие скулы, брови аккуратным полукругом. Губы бледные, чуть потрескавшиеся. Волосы, цвета темного меда, беспорядочными прядями спадали на узкие плечи. Они были густые, длинные, совершенно не мои: у меня была короткая модная стрижка, для удобства, пепельный блонд. А тут...

— Это не я, — прошептала я беззвучно. — Это не мое лицо.

Во рту пересохло. Я не была собой. Не той Лизой Серебрянской, агрономом под сорок, с морщинками у глаз от смеха и постоянным напряжением между лопатками от работы за компьютером. Я была... девочкой. Чужой девочкой в чужом времени.

Мысли понеслись, лихорадочные, путанные. Что случилось в моем мире? Остановилось сердце за рабочим столом? Перегруз в лаборатории? Врачи говорили, что я на износе, что нужно отдыхать... Получается, я... умерла? А это... что, новая жизнь? Реинкарнация в прошлое? Бред. Но факт был передо мной в волнистом стекле. Мое сознание в теле незнакомой молодой девушки где-то... в царской России, судя по всему. Жалкие обрывки школьных уроков всплывали в памяти. Пригодятся ли они сейчас?

Я перевела дыхание. Страх отступил. Сердце билось под тонкой грудной клеткой. Жизнь – странная, чужая, непрощенная – продолжалась. Я была жива. Вот прямо сейчас, дышала, чувствовала холод пола под ногами. Это было чудо. Безумное, необъяснимое, но чудо. А раз я жива, нужно выживать дальше. А для этого...

В дверь постучали. Негромко, но уверенно.

– Лизонька? Ты не спишь? – послышался голос Пелагеи.

Я инстинктивно отпрянула от зеркала, как пойманная на месте преступления.

– Да... я проснулась, – выдавила я.

Дверь отворилась. Вошла Пелагея. Она несла в одной руке кувшин, из которого шел пар, в другой – аккуратно сложенную стопку ткани.

– Ну, слава Богу, очнулась, – деловито сказала она, ставя кувшин на стол. – Как себя чувствуешь? Голова не кружится?

Я покачала головой.

– Нет. Спасибо. Вроде... нормально. Только слабость.

– Ну, это ладно. Слабость отлежится, – она подошла и, не спрашивая, приложила тыльную сторону ладони ко моему лбу. Шершавая, теплая кожа. – Жару нет. И цвет лица получше. Вот и отлично. Умоешься, оденешься, а я тебе завтрак подам. Пока тут, в комнате. Еще окрепнуть надо.

Она указала на стопку ткани.

– Платье. Простое, но чистое. Пока поносишь. А там видно будет.

Я кивнула. Пелагея вылила в таз воду из кувшина. Пар усилился.

– Мыло тут, полотенце. Умывайся, не зевай, остынет. Я через полчаса вернусь.

Она вышла, оставив меня наедине с тазом и платьем.

Умывание было ритуалом возвращения к реальности. Вода оказалась мягкой, не жесткой, как у нас из-под крана. Мыло пахло резко, щелочью и какой-то травой. Я вымыла лицо, шею, руки, с наслаждением смывая последние следы вчерашней грязи и страха. Потом развернула платье.

Серое, шерстяное, очень простое, с длинными рукавами и высоким воротником. Застегивалось сбоку на мелкие пуговицы-ракушки. Никаких кринолинов и сложных бантов. Одежда служанки или небогатой горожанки.

Платье было только верхним слоем. Под ним, аккуратно свернутые, лежали и другие вещи. Длинная, до щиколоток, холщовая сорочка с узкими рукавами: нижняя рубаша. И что-то вроде простых панталон из той же грубой, но мягкой от стирки ткани. Никакого изысканного белья с кружевами. Утилитарно, скромно, тепло.

«Значит, так тут носят», — мелькнула мысль. Я никогда не одевалась в такие слои. Джинсы, футболка, иногда термобелье – вот и весь мой арсенал.

Пришлось разбираться на ощупь, как конструктор. Сначала сорочка. Она была похожа на ночную рубашу, но короче и плотнее. Потом эти странные, широкие панталоны, которые пришлось завязывать тесемкой на талии. Каждый слой казался барьером между мной и враждебным миром, делая фигуру бесформенной, но давая странное чувство защищенности.

Под всем этим комплектом лежала и обувь. Не башмаки, а что-то вроде грубых, вязаных из толстой шерсти носков: длинные, плотные, с прошитой кожаной подошвой. Чулки, что ли? Валенки для дома? Я не знала, как они правильно называются. Наверное, чуни. Они были

толстыми, колючими на ощупь, но сухими и теплыми. Натянуть их на ноги оказалось целым подвигом: они плохо тянулись и норовили скрутиться. Но, в конце концов, я усадила их на место, и ступни сразу перестали мерзнуть о пол.

И только потом само платье. Я долго возилась, пальцы не слушались, путались в непривычных петлях по боку. Но в конце концов справилась. Одежда висела на мне мешком, скрывая новые очертания тела и подчеркивая общую худобу, но была невероятно теплой. Шерсть щекотала шею у ворота, но этот дискомфорт был ничтожен по сравнению с вчерашним холодом.

Со своими короткими волосами я управлялась за минуту. Здесь же пришлось вести долгую и беспощадную войну. Спутанные пряди то и дело выскальзывали, коса получалась кривой и жидкой. В конце концов, я сдалась и просто скрутила все в тугую, некрасивый узел на затылке, закрепив его самым же кончиком, затянув петлю до боли... Хотя как-то, но привела себя в божеский вид. Смотреть в зеркало на результат не стала: и так понятно, что шедевр парикмахерского искусства из этого не вышел.

Вскоре вернулась Пелагея. Она несла деревянный поднос. На нем дымилась глиняная миска и лежал ломоть хлеба. И стояла глиняная кружка с чем-то молочным.

Она на мгновение замерла на пороге, ее взгляд скользнул по мне с головы до ног. Он задержался на моих руках, на аккуратной, хоть и бедно, застегнутых пуговицах платья, на небрежном пучке волос. В ее глазах мелькнуло что-то острое: не удивление даже, а скорее... перепроверка. Как будто она мысленно ставила галочку в какой-то невидимой таблице. Потом это выражение исчезло, смывтое привычной деловитой суетой.

— Садись, кушай, — сказала Пелагея, указывая на стол, уже без той ворчливой, но нейтральной интонации, что была минуту назад. Теперь в ее голосе сквозила какая-то плохо скрытая озадаченность. — Каша овсяная, на молоке. Хлеб свой, ржаной. Кушай, силы набирайся.

«Что не так? — метнулась во мне тревожная мысль. — Я же просто оделась. Где я прокололась?»

Я села. Запах был простой, сытный. В каше плавало темное пятно масла. Я взяла ложку, обычную деревянную, и попробовала, стараясь не обращать внимания на пристальный, тяжелый взгляд Пелагеи, упершийся мне в спину.

Каша была теплая, сытная, с легким дымком от печи. И.. соленая. Не пресная. Мысль тут же скользнула: «Солят. Значит, не нищенствуют. Порядок».

Я ела медленно, с неожиданным аппетитом. Каждый глоток, каждый кусок кисловатого, но вкусного хлеба словно заземлял меня, возвращал телу ощущение реальности. Я — здесь. Я ем эту еду. Я живу.

Пелагея наблюдала за мной, стоя у двери, руки под фартуком. В ее взгляде все еще копошилось подозрение, но теперь к нему добавилось что-то вроде недоуменного интереса.

— Ну что, съела? — спросила она, когда я поставила пустую миску. — Молодец. Теперь лежи, отдохни. Барин, чай, скоро зайдет, проводит. Поговорить хочет.

В груди что-то екнуло. Главный экзамен.

— Хорошо, — тихо сказала я.

Пелагея забрала поднос и вышла. На минуту в комнату заскочила та самая девушка, что помогала вчера. Анюта. Схватила таз с водой и исчезла. Я снова осталась одна. Силы, подкрепленные едой, понемногу возвращались.

Я подошла к окну, растерла ладонью заиндевшее стекло. Двор. Большой, заснеженный. Люди в тулупах и валенках сновали между амбарами, таскали мешки, запрягали лошадь в сани. Жизнь кипела, не обращая на меня никакого внимания.

Вернулась к кровати, села на край, не ложась, просто прислонившись спиной к высокой, резной спинке. И стала ждать.

Глава 5. Испытание памятью (Лиза)

Шаги в коридоре слышались не скоро. Твердые, уверенные, неспешные. Они остановились у двери. Короткая пауза, и негромкий стук.

— Войдите, — выдохнула я.

Дверь открылась. На пороге стоял он. Мой спаситель. Без длинного плаща, в простой, но добротной шерстяной куртке поверх светлой рубахи, в сапогах. Высокий, широкоплечий, с темными, чуть выющимися волосами и аккуратной бородкой. И с той же строгой, усталой внимательностью во взгляде, что и вчера в овраге. Он вошел, но не стал подходить близко, остановился в двух шагах от кровати, давая мне пространство.

— Добрый день, — сказал он. Голос был таким же, как вчера: низким, спокойным, без какой-либо слащавости или подобострастия. — Как самочувствие?

Я сделала движение, чтобы встать – вдруг так положено? – но он едва заметно мотнул головой.

— Сидите, сидите. Не церемоньтесь. Вы еще слабы.

Я замерла, просто кивнув.

— Спасибо. Лучше. Гораздо лучше.

Он кивнул. Присел на табурет.

— Меня зовут Николай Сергеевич Каменев. Это моя усадьба. Вы – в безопасности. По крайней мере, от холода и голода.

Он помолчал, изучая мое лицо. Я не опускала глаз, но и не смотрела прямо на него: уставилась куда-то в пространство за его плечом.

— Пелагея говорит, вы ничего не помните, — продолжил он, уже без предисловий. — Ни своего прошлого, ни как здесь оказались. Это правда?

Вопрос висел в воздухе. Я сжала пальцы в складках платья. Страх вернулся, холодной волной, но вместе с ним вернулась и та ясная, ледяная мысль: «Только так. Другого выхода нет».

Я медленно подняла на него глаза. Постаралась, чтобы в них не было хитрости. Только пустота. И ужас. Настоящий, выстраданный за эти сутки ужас.

— Правда, — прошептала я. И голос задрожал сам по себе, без притворства. — Я не помню... ничего.

— Странно, — произнес он тихо, больше себе. — Одежда на вас была... простая, но не крестьянская. Руки... не работницы. А оказались вы в глухом лесу, в двадцати верстах от ближайшего жилья. Без вещей, без следов. Как будто с неба упали.

Сердце екнуло. Он был умнее и наблюдательнее, чем я надеялась.

— Я не знаю, — прошептала я. И это снова была чистая правда. — Я проснулась уже там. В яме. И мне было... очень страшно.

Последние слова сорвались с губ сами, сдавленным, детским голосом. Я не играла. Воспоминание о том ледящем, беспомощном ужасе нахлынуло с новой силой. Я сглотнула комок в горле.

Он заметил. Его лицо смягчилось, почти неуловимо.

— Понимаю, — сказал он просто. Потом вздохнул. — Ладно. Что было, то прошло. Теперь вы здесь, в Каменевке. Здоровье – главное. Остальное... разберемся. Поживите тут, окрепнете. А там... — он махнул рукой, словно отмахиваясь от неразрешимой задачи. — Видно будет. А память... авось, вернется.

Он говорил это скорее для себя, как бы намечая план действий.

— А если... не вернется? — спросила я тихо, почти не надеясь на ответ.

Николай замер. Его лицо, такое замкнутое и строгое, на миг выдало усталое раздумье.

— Тогда, Лизонька, — сказал он, и в его голосе впервые прозвучала какая-то непривычно мягкая, почти растерянная нота, — придется придумывать будущее заново. И мне, и тебе. Но об этом думать еще рано.

Он повернулся, чтобы уйти, но задержался.

— Вам, наверное, скучно будет одной. Как окрепнете, прогуляться можно. По дому, по двору. Только далеко не уходите, чтобы сил хватило вернуться. И... если что нужно, то Пелагее скажите. Или мне.

Он кивнул мне на прощание и вышел, тихо прикрыв дверь.

Я осталась сидеть, прижав ладони к лицу. От его слов не стало легче. В груди было странное, смешанное чувство. Страх никуда не делся. Но к нему добавилось что-то еще. Небольшая, зыбкая точка опоры.

Он не стал давить. Не потребовал объяснений, которых у меня не было. Он дал время.

«Придется придумывать будущее заново».

Фраза звенела в голове, странная и пугающая. Но в ее глубине мерцала слабая, едва уловимая надежда. Пока есть время, есть шанс. Шанс понять, где я. И, может быть... зачем.

Глава 6. Совет с Прохором

(Николай Каменев)

От Лизоньки я вышел с тем же ощущением, что и вчера после оврага: будто подхватил на дороге неведомый, хрупкий груз, не зная, куда его деть. Пустота в ее глазах казалась подлинной, но даже эта подлинность не проясняла ровным счетом ничего. «С неба упала» — фраза, сорвавшаяся у меня в сердцах, теперь казалась едва ли не самым логичным объяснением. А это было уже совсем нехорошо.

Спустившись, я отыскал Анисима Ивановича в конторе, быстро отдал распоряжения по текущим делам: насчет подшипника на мельнице, раздачи сена овцам, насчет отправки в город за солью и гвоздями. Управляющий кивал, записывал, но я видел, как его взгляд скользил по мне с немым вопросом. Вся усадьба уже дышала одним слухом.

— И насчет гостей, — добавил я на прощание, уже стоя в дверях. — Чтобы никто не тревожил, не докучал расспросами.

— Слушаюсь, Николай Сергеевич, — ответил Анисим Иванович, но в его интонации прозвучала тихая обреченность. Остановить людскую молву было все равно, что пытаться загородить рукой весенний разлив.

Я махнул рукой, вышел на крыльцо и крикнул конюху:

— Норда седлать! И Шайтана ко мне!

Минут через десять я уже выезжал со двора, оставляя позади запах дыма, навоза и людской суеты. Шайтан, словно почуяв, что поездка не деловая, а душевная, несясь впереди не по прямой охотничьей тропе, а петляя между березами, обнюхивая каждый пенек.

Норд, свежий и не утомленный вчерашним, бодро выносил меня на простор. Морозный воздух обжигал легкие, снег скрипел под копытами, солнце, бледное как олово, висело низко над лесом. Казалось, вот оно, то самое лекарство: скорость, холод, чистота.

Но не вышло. Мысли не улеглись, а лишь выстроились в стройную, навязчивую колонну. Белые, нетронутые руки. Взгляд, оценивающий мир, как чужую декорацию. И эта абсолютная, выжженная пустота в памяти, на месте которой у нормального человека должен быть хоть какой-то след: имя, место, лицо. В ее случае даже этого не было. Лишь отзвук паники, загнанной глубоко внутрь.

Я свернул с проселочной дороги на знакомую тропу, ведущую к егерской избушке Прохора на краю казенного леса.

Избушка, почерневшая от времени, с заиндевевшей трубой, стояла на опушке. Перед ней на колодке, свежавал тушку зайца сам хозяин. Увидев меня, он не бросил работу, лишь кивнул приветственно коротко стриженной седой голове.

— Здорово, барин. Нежданно.

— Здорово, Прохор. Мешаю?

— Какое мешаешь. Садись, коли дело есть. Али просто прокатиться?

Я спешил, привязал Норда к срубам колодца. Шайтан, обменявшись с парой местных дворняг коротким, ритуальным обнюхиванием, улегся на снег, высунув язык.

— И дело, и прокатиться, — сказал я, прислонившись к косяку. — Что с дичью в ближнем лесу?

— Тетерева на лиственницах сидят, стайками, — не поднимая головы, ответил Прохор, ловко снимая шкурку. — Вон в том осиннике, на опушке, рябчиков видел. На пару выстрелов наберется.

Охота была кстати: разрядила бы мысли. Мы взяли ружья. Шайтан, поняв настроение, преобразился: из ленивого пса превратился в собранную, вибрирующую энергией стрелу. Он повел нас вглубь леса, не гоном, а крадучись, как на птицу.

Тишина зимнего леса, нарушаемая только хрустом снега под ногами да редким стуком дятла, на время взяла свое. Азарт выслеживания, мерный ход дыхания, зоркий взгляд, выискивающий темное пятно на белом фоне ветвей – все это вытесняло тревогу, замещая ее знакомой, чистой страстью.

Нашли тетеревиный след, вышли на посадку. Шайтан замер в стойке, хвост тростинкой. Я и Прохор разошлись. Выстрелы прозвучали почти одновременно: два глухих хлопка, разорвавших морозную тишину. Два черных с лиловым отливом комка шлепнулись в снег. Охота удалась, но была какая-то деловая, без упоения.

Я поднял свою птицу: тетерева-косача, тяжелого, с яркими бровями. Хороший трофей. Но мысли уже возвращались. По дороге обратно к избушке, неся добычу, я наконец задал тот же вопрос, что и управляющему.

— Прохор. Не слышал ли чего в округе? Не пропадал ли кто? Девушка, например.

Прохор, шагавший впереди, обернулся. Его обветренное лицо было серьезно.

— Девушку? Из благородных? Нет, барин. Не слышал. У нас тихо. Чужие если и ходят, так бродяги, мужики отходные. Их урядник ловит. Барышень тут не теряют, — он помолчал, тяжело ступая по снегу. — А коли б такая пропажа случилась, по всему уезду бы гул пошел. Я б услышал.

Я кивнул. Прохор был лучшим ищейкой и соглядатаем, чем любой урядник. Если он не знал, значит, девушка действительно возникла из ниоткуда.

— А слухи-то про твою находку уже пошли, — добавил он беззлобно. — И у нас в лесной деревеньке болтают, и, поди, в соседних имениях: «Каменев, слышь, в овраге принцессу откопал. Беспамятную, красивую». Народ любит сказки.

— Любит, — мрачно согласился я. Значит, ждать гостей с расспросами. Или даже... с претензиями. Я с силой выдохнул, и пар от дыхания за клубился в морозном воздухе. — Ладно, про слухи ясно. А вот как ты думаешь, что за диковинка мне в руки попала? Кто она, по твоему?

Старый егерь остановился, обернулся. Его умные, узкие глаза смотрели на меня без тени лести или подобострастия.

— Не диковинка она, барин. По рассказам – человек. А человек с пустой головой – как дом без хозяина. В него всякое может вселиться. И хорошее, и дурное. Ты гляди в оба. А я... я сторонкой послушаю, посмотрю. Коли что по округе прояснится, сразу дам знать.

В его словах не было ни суеверного страха Пелагеи, ни практичной озабоченности управляющего. Была трезвая осторожность солдата и друга. Это успокаивало.

— Спасибо, Прохор.

— Не за что. На то я и егерь. Дичь всякую отслеживать... диковинную.

Мы вернулись к избушке. Я привязал тетеревов к седлу, попрощался и тронул Норда в повод. Обратная дорога домой казалась короче. Мысли, получив после разговора с Прохором неясное, но твердое направление, утихомирились. Да, слухи идут. Да, загадка неразрешима. Но пока девочка под моей крышей, она под моей защитой. А что будет дальше... «Придется придумывать будущее заново». Мои собственные слова отдавались в ушах странным эхом.

Подъезжая к усадьбе, я увидел, что во дворе непривычное оживление. Возле погреба, крытого дерном, толпились люди: кухарка Мавра, Аня и еще пара работниц. Они что-то вытаскивали на свет: большие глиняные крынки и деревянные кадки, укутанные в рогожу. Запах кислой капусты и моченых яблок донесся даже до меня. Заготовки на зиму. Обычное дело.

Но потом я заметил ее. Лизу. Она стояла чуть в стороне, завернутая в тот же серый плащ, поверх которого кто-то накинул большой шерстяной платок. Она смотрела не на суету людей, а на содержимое только что открытой кадки, которую Мавра с помощью Ани собиралась донести до кухни. И выражение на ее бледном лице было не праздным любопытством, а... пристальным, деловым. Такое же сосредоточенное, слегка критическое выражение бывало у меня, когда я осматривал новую партию семян или оценивал состояние зерна на мельнице.

Она что-то сказала. Негромко. Мавра замерла, потом наклонилась, чтобы рассмотреть то, на что указывала Лиза. Аня округлила глаза. Лиза сделала шаг ближе, и ее точный, объясняющий жест был совершенно лишен неуверенности вчерашней находки. Она говорила о чем-то уверенно, словно знала это дело досконально.

Я замер в седле, наблюдая за этой немой сценой. Шайтан, сидевший рядом, тихо взвизгнул, улавливая мое напряжение.

«Что ты там такое знаешь, девочка с пустой головой?» — пронеслось у меня в голове.

И в этот момент, будто почувствовав мой взгляд, Лиза резко обернулась. Наши глаза встретились через двор, засыпанный снегом и залитый бледным зимним солнцем. Испуга, который я ожидал увидеть, не было. Была мгновенная настороженность, быстрая, как взмах крыла птицы, и... смущение. То самое смущение, которое бывает, когда тебя застают за тем, чего, по общему мнению, ты делать не должен или не умеешь.

Она быстро опустила глаза и отвернулась, но момент был уже пойман.

Глава 7. Первые шаги

(Лиза)

Сидеть без дела оказалось невыносимо. Мысли кружились, как снежинки за окном, но не цеплялись ни за что. «Придется придумывать будущее заново». Слова Николая Сергеевича бились в висках навязчивым, пустым ритмом. Будущее? Какое будущее, если прошлого-то нет?

Я встала и подошла к зеркалу. Снова. В волнистом стекле смотрела на меня незнакомка. Я пристально вглядывалась в эти серо-голубые глаза, в бледное лицо с синяками под глазами.

— Так кто же ты, а? — прошептала я. — Как звали тебя до меня? Откуда родом? Как угодила в овраг?

Тишина. В голове полный ноль. Ни одной картинке, ни одного имени, кроме своего собственного. Только мои знания, мои воспоминания о другой жизни. О компьютерах, о теплицах с автоматическим поливом, о запахе бетона и выхлопных газов. А здесь запах воска, дерева и морозной свежести.

Что ж. Значит, будем выживать с тем, что есть. А это, если подумать, даже весомый плюс. Хорошо хоть не в какую-то незнакомую страну занесло, а в Россию. Пусть и в царские времена. Еще до революции. Значит, не все так плохо. Пока не все.

Я глубоко вздохнула. Бездействие сводило с ума. Николай Сергеевич разрешил прогуляться. Уходить далеко я, конечно, не собиралась, не дура. Но осмотреться... почему бы и нет?

Осторожно приоткрыла дверь и высунула голову в коридор. Длинный, просторный, с темными дубовыми половицами, которые слегка поскрипывали. Стены были оклеены неброскими обоями в полоску, кое-где висели какие-то гравюры в рамках: пейзажи, охотничьи сцены. Свет падал из окна в торце: большое, с цветными стеклами по краям. Воздух пах тем же, чем и в моей комнате: деревом, чистотой и легкой затхлостью старины.

Выскользнула и пошла, стараясь ступать как можно тише. Колочие чуни на ногах оказались удивительно бесшумными. Двери по обе стороны коридора были в основном закрыты. Одна, приоткрытая, вела в комнату, похожую на библиотеку или кабинет: я мельком увидела полки с книгами, массивный письменный стол, кожаное кресло. Пахло там табаком и старой бумагой. Я поспешила мимо.

Спустилась по широкой лестнице с резными перилами вниз, в прихожую. Там было прохладнее. На вешалке висел тот самый длинный плащ Николая Сергеевича, рядом несколько простых женских шубок и тулупов. Из-за двери слева доносились голоса и звон посуды. Кухня.

Я уже хотела свернуть в противоположную сторону, где виднелся выход во двор, как услышала за собой:

— Лизонька? Ты куда это?

Я обернулась. На кухонном пороге стояла Пелагея, вытирая руки о холщовый передник. В ее взгляде читалась привычная уже смесь заботы и подозрения.

— Мне... скучно сидеть в комнате, — честно призналась я. — И барин ваш позволил прогуляться. Вы не против, если я немного осмотрюсь?

Пелагея вздохнула, но лицо ее смягчилось.

— Что ж, против не буду. Сидеть взаперти и впрямь тоска. Ступай, смотри. А еще лучше — подышать на дворе. Морозец-то, гляди, мысли расшевелит. Авось, и вспомнишь что о себе.

Она деловито сняла с вешалки плащ и накинула мне на плечи. Он был тяжелым и пах конем, лесом и чем-то мужским, безопасным.

— Накинь-ка, родимая, теплый плат, продует! — сказала она, доставая откуда-то большой шерстяной платок и укутывая мне голову и шею.

Потом она принесла валенки: настоящие, серые, мягкие и огромные на вид. Я посмотрела на свои ноги в толстых чунях.

— А мне валенки... поверх этого надевать? — неуверенно спросила я.

Пелагея на мгновение остолбенела, будто я спросила, можно ли в самоваре уху сварить.

— Господи помилуй, дитё! — фыркнула она. — Да в них и шагу не ступишь, как в колодках. Это для дома, чуни-то. Выходные чулки в сундуке лежат. Домотканые. Снимай давай, надень чулки, а сверху валенки. Вот так положено-то.

Внутри у меня все сжалось. Промах. Первый, но явный. Я, покраснев, быстро стащила чуни. Пелагея подала мне пару тонких вязаных чулок из серой шерсти. Я натянула их, а затем всунула ноги в валенки. Они оказались на удивление легкими и очень теплыми.

Пелагея тем временем надела свою верхнюю одежду: какую-то стеганую на вате безрукавку поверх платья, толстую шаль, а на голову темный платок, повязанный особым образом. На ногах у нее были валенки попроще, но тоже добротные.

— Мавра! Анютка! — крикнула она в сторону кухни. — Бросайте там, идемте, пора кадки доставать!

Из кухни вышли кухарка, полная женщина с красным от жара лицом, и та самая худенькая горничная Анюта. Они тоже закутались в платки и тулупы.

Мы вышли на крыльцо, и меня обдало колючим, свежим холодом. Я ахнула.

Двор усадьбы открылся передо мной во всей красе. Он был огромным, похожим на целую деревню. Прямо перед домом расстилалась широкая площадка – парадный двор. Снег на нем был аккуратно сметен к краям, обнажив утоптанную землю, а посередине проложена прямая, как стрела, дорожка к воротам. Дальше, по периметру, стояли постройки: большие амбары с массивными воротами, конюшня, из которой доносилось ржание, длинный низкий коровник, какое-то строение с высокой трубой, наверное, баня. Все они были крепкими, добротными, не новыми, но явно ухоженными. Чувствовалось, что здесь царит строгий порядок и все подчинено делу. Это было не просто богатое имение. Это было крепкое, работающее хозяйство. Таким я представляла себе успешную ферму из классической литературы.

Пелагея повела нас к невысокому, приземистому строению, почти вросшему в землю: к погребу. Дверь уже была открыта, оттуда тянуло холодом и пахло землей, плесенью и.. кислой капустой.

— Ну-ка, девицы, — сказала Пелагея уже не так строго. — Достаньте-ка с верхнего ряда капусту квашеную да яблок моченых. Барину к обеду подать, да и нам на ужин. Только глядите, чтоб не попалось чего подпорченного.

Мавра и Анята скрылись в темном проеме, а вскоре вынесли наружу глиняную крынку, укутанную в рогожу, и небольшую деревянную кадку, видимо, на пробу. Пелагея сняла с кадки тяжелую круглую деревянную крышку, а потом убрала плоский, отполированный водой речной камень, что лежал сверху и придавливал капусту: гнет.

Я невольно заглянула внутрь, пока Мавра зачерпывала порцию в миску. Рассол был мутноватым, на поверхности плавала тонкая белесая пленка. Капуста, которую она доставала, выглядела темной и слишком мягкой. Рядом Анята приоткрыла крынку с яблоками: оттуда пахло резковато, а несколько плодов, плававших сверху, сморщились, на других виднелись коричневые пятна.

Профессиональное чутье агронома взбунтовалось. Рука сама потянулась, чтобы поправить, улучшить, спасти то, что еще можно было спасти. Они же не перебирать зашли, а просто взять на еду. А завтра возьмут еще. И весь урожай так потихоньку испортят.

— Мавра, простите, — не удержалась я. — А вы гнет каждый раз промываете? И ту крышку, что сверху кладете, прежде чем обратно поставить?

Мавра, вытиравшая лоб краем фартука, удивленно подняла на меня глаза.

— А зачем его мыть-то, барышня? Он же в рассоле.

— Видите, сверху пленка и помутнение? — указала я на капусту. — Это от того, что с воздухом соприкасается и грязь попадает. Если гнет и крышку перед тем, как опустить, ошпарить кипятком, то они чистыми будут. А еще... — я на миг задумалась, глядя куда-то поверх голов, выуживая совет из глубин памяти. — Горчичный порошок есть? Или хрен сушеный?

— Хрен? — переспросила Анята, округлив глаза. — На что он?

— Если щепотку горчицы рассыпать на рассол или лист хрена положить, — объяснила я, стараясь звучать убедительно, — то он и не помутнеет, и не закиснет лишний раз. Хрен, он... порчу отгоняет. Храниться тогда капуста будет лучше, до самой весны хрустящей останется.

Мавра прищурилась, разглядывая меня с новым интересом.

— Бабка моя, правда, про хрен сказывала... Давно это было, забыла. А вы, барышня, откуда такое знаете?

Вот он, момент. Я почувствовала, как под платком по спине пробегает предательский жар. Нужно было сказать что-то правдоподобное, и быстро. Мысль метнулась, выхватывая первое, что пришло в голову.

— У нас в... в имении, где я раньше жила, был старый садовник, — начала я, чувствуя, как слова складываются в сюжет, который я сочиняла буквально на ходу, как плохой актер в

дешевом фильме. — Немец. Он все экспериментировал. Говорил, что продукты как живые, им нужны свои правила. Я рядом часто крутилась, вот и запомнила.

Ложь вышла гладкой, даже слишком гладкой, как заученная реплика. Я боялась, что Пелагея тут же раскусит эту нелепую сказку, но та лишь медленно кивнула, не отводя от меня своего пристального, испытующего взгляда.

— Дельное, пожалуй, — протянула Мавра наконец. — Попробуем. А то капуста нынешняя капризная вышла.

Я заглянула в кадку с яблоками. Рассол был мутный, а несколько плодов сверху потемнели.

— А яблоки... — начала я, указывая на кадку. — Они же все вместе. Одно загнило и заразу по всему рассолу пустит. Их нужно чаще перебирать, без жалости. Раз в две недели хоть. Все, что даже с пятнышком, долой.

Я сделала шаг к темному проему погреба. Оттуда тянуло сырой землей.

— Можно? — спросила я у Мавры и, не дожидаясь ответа, осторожно спустилась по скользким земляным ступенькам вниз, чтобы окинуть взглядом хранилище.

Внутри было прохладно и влажно. В слабом свете, падавшем с улицы, я увидела, как по глиняным стенам стекают мутные капли. Конденсат. Именно то, чего быть не должно.

— И в погребе сыровато, — сказала я, поднимаясь обратно, уже увереннее. — На стенах вода. От сырости и яблоки портятся быстрее, и капуста может закиснуть. Нужно влагу убрать. Поставьте в угол ящик с негашеной известью. Или с сухой золой. Они влагу из воздуха потянут.

Я вернулась к кадке и ткнула пальцем в всплывшие яблоки.

— И вот это беда. Они же сверху оголились, без рассола. На воздухе моментально гнить начнут. Надо их под гнет, чтобы все были в жидкости. Можно сделать деревянный кружок поменьше, чистый, ошпарить его кипятком и сверху на яблоки положить, а потом ваш камень. И рассол пробуйте время от времени. Если слишком кислым стал или запах не тот, слить половину, долить свежего холодного кипятка с солью да сахаром. По рецепту.

Закончила и только тут осознала, что все трое — Пелагея, Мавра и Анюта — смотрят на меня, затаив дыхание. Не как на странную, а как на... знающую. Слишком знающую. Сердце гулко стукнуло где-то в горле. Переборщила.

Именно в этот момент я почувствовала на себе другой взгляд. Тяжелый, пристальный. Я обернулась.

Через весь двор, прямо на нас, смотрел он. Николай Сергеевич. Он только что въехал во двор на своем вороном коне и еще не спешил. Его лицо было серьезным, а взгляд... в его взгляде не было злобы, но было что-то острое, внимательное, как у хищника, выследившего дичь. Он видел всю нашу сцену. Видел, как я что-то объясняю, жестикулирую. Видел замешательство и интерес на лицах его служанок.

У меня внутри все похолодело. Я замерла, не в силах отвести глаз. Он заметил, что я его увидела. Его взгляд стал еще пристальнее.

И тут откуда-то сбоку, рыжим пламенем, выскочила та самая собака, что нашла меня в овраге. Она пролетела мимо хозяина, не обратив на него внимания, и подбежала прямо ко мне. Не залаяла, не зарычала. Она уткнулась холодным мокрым носом мне в ладонь, а потом плюхнулась на снег у моих валенок, положила морду на лапы и уставилась на меня снизу вверх умными, преданными глазами, повиливая хвостом.

Я остолбенела. Присела и положила руку ей на голову. Шерсть была жесткой, но под ней чувствовалось живое, теплое, доверчивое существо.

Николай Сергеевич медленно, не торопясь, сполз с седла. Он не отводил от нас взгляда. Подошел ближе, и его лицо выражало теперь не просто внимание, а самое настоящее, неподдельное изумление.

Он остановился в паре шагов от меня и покачал головой.

— Вот это да... — произнес он, и его низкий голос прозвучал хрипло, будто ему не хватало воздуха. — Шайтан... Он чужих не терпит. Со всеми как черт, даже на Пелагею ворчит. А к тебе...

Он замолчал, глядя то на меня, то на пса, лежащего у моих ног. В его глазах боролись недоверие и какое-то другое, сложное чувство.

— Будто старого друга узнал, — закончил он тихо, больше для себя.

Между нами повисла тишина, густая и звонкая от мороза, нарушаемая лишь фырканием коня да тяжелым дыханием собаки. Вопрос, который он не задал вслух, висел в воздухе между нами, настолько плотный, что, казалось, его можно было потрогать.

А Шайтан, эта огромная, свирепая с виду собака, продолжал лежать у моих ног, положив тяжелую голову мне на валенок, будто решил, что здесь его место.

Глава 8. Проблеск

(Лиза)

Между нами повисла тишина. Николай Сергеевич стоял в паре шагов, не сводя с меня глаз. В них читалось то самое изумление, смешанное с недоверием. Я чувствовала, как позади меня замерли Пелагея, Мавра и Анюта. Весь двор, казалось, притих, наблюдая за этой немой сценой.

Николай Сергеевич медленно покачал головой, его дыхание вырывалось в морозный воздух белыми клубами. Он перевел взгляд с Шайтана, безмятежно развалившегося у моих валенок, на женщин у погребка. Его лицо, секунду назад выражавшее чистое недоумение, снова стало привычным, сдержанным, хозяйским. Голос прозвучал ровно, без напряжения, но так, что даже Пелагея встрепенулась.

— Ну чего застыли? Дело есть, — сказал он, кивнув в сторону кадки. — Тащите, что нужно, в дом. Да смотрите, чтоб рассол по двору не расплескали.

Его тон был обыденным, будто ничего особенного не произошло. Но приказ разрядил затянувшееся молчание. Пелагея первая очнулась, хлопнула в ладоши.

— Слышали, девицы? Шевелитесь! Мавра, бери миску, накладывай капусты, да покрепче, с хрустом! Анютка, яблок из крынки выбирай, тех, что понаряднее!

Суэта возобновилась, но теперь она была сдержанной, украдкой поглядывающей в нашу сторону. Мавра и Анюта, красные от смущения и холода, быстро приступили к своим обязанностям и, подхватив свою ношу, быстрыми шагами направились к крыльцу. Пелагея бросила на меня быстрый, ничего не выражающий взгляд, покосилась на Шайтана, все еще лежащего у моих ног, и, негромко что-то пробормотав себе под нос, пошла за ними, оставив нас с Николаем Сергеевичем и собакой одних в затихшем углу двора.

Он наблюдал, как женщины скрылись в доме, потом медленно обернулся ко мне. Шайтан, почуяв движение хозяина, лишь приподнял голову, но не тронулся с места.

Николай Сергеевич посмотрел на него, потом на меня. В его глазах снова мелькнуло то сложное, непонятное чувство.

— Стоять на морозе – не дело, — сказал он наконец. Его голос был низким, спокойным, но в нем не было прежней отстраненности. Была какая-то новая, пристальная внимательность. — Раз уж ты выбралась на воздух... Пройдемся. Покажу, что у меня тут есть. Сад, например. Ноги разомнешь.

Это было не предложение. Скорее, мягкое, но не допускающее возражений решение. И ясно обозначенное намерение узнать больше. Наедине.

Я кивнула, не в силах выговорить ни слова. Казалось, все слова остались там, у погребка, вместе с пролитым рассолом и откровениями о хрене и горчице. Шайтан поднялся, потянулся и встал рядом со мной, четко давая понять, что идет с нами.

Николай Сергеевич двинулся в сторону сада, неторопливым, но привычно размашистым шагом человека, много ходившего по снегу и лесу. Я поспешила следом, чувствуя, как огромные валенки неуклюже плюхаются в следы его сапог.

Передо мной расстиралось белое, застывшее царство. Деревья стояли черными, голыми скелетами, укутанными в пушистые снежные шапки. Тишина была почти абсолютной, нарушаемой только скрипом снега под ногами да фырканием Шайтана. И тут мой взгляд, привыкший выискивать детали, начал работать сам по себе.

Вот эта длинная прямая аллея, наверное, из лип. Летом здесь должна быть густая тень. А вот там, за засыпанным снегом кустарником, угадывается приподнятая площадка – цветник. Можно было бы разбить его по-новому, сделать миксбордер, подобрать растения так, чтобы цвели с весны до осени... Там, где сейчас сугроб, явно была лужайка. Если дренаж хороший, можно засеять газонной смесью, а по краю пустить малину или смородину.

Я мысленно стирала снег, и под ним проступали очертания не просто сада, а проекта. Весенние первоцветы у самого дома. Летние грядки с пряными травами там, где больше солнца. Шпалеры для огурцов и фасоли у южной стены амбара. Яблони, груши... нужно проверить, какие сорта уже есть.

Это была не просто фантазия. Это был профессиональный рефлекс. Руки даже сами слегка пошевелились, как будто уже что-то сажали, поправляли, планировали.

И вдруг я это осознала. На секунду страх отступил, забитый чем-то другим: жадным, живым интересом. Здесь можно было бы не просто выживать. Здесь можно было бы творить. Строить. Возрождать.

Мой взгляд скользнул дальше, к самому краю сада, где за высоким сугробом и частоколом голых ветвей что-то слабо блеснуло.

Стекло.

— А это что? — спросила я, и голос мой прозвучал громче, чем я хотела. Я даже руку вытянула, указывая.

Николай Сергеевич обернулся, посмотрел туда, потом на меня. В его глазах мелькнуло легкое удивление.

— Оранжерея, — сказал он просто. — Вернее, была. Отец мой строил, для забавы. Экзотику какую-то растил. Не прижилось.хлопот с ней невпроворот. Теперь так стоит. Лет пять уже, наверное.

Теплица. Старая, заброшенная теплица.

Во мне что-то щелкнуло. Моя стихия.

— Можно посмотреть? — выпалила я, даже не думая.

Он снова посмотрел на меня пристально. Теперь в его взгляде было не только удивление, но и что-то вроде пробуждающегося любопытства.

— Чего там смотреть? Рухлядь одна, — пробормотал он, но уже поворачивался и шел вперед, прокладывая тропу в глубоком снегу. — Ну, раз хочешь... Идем.

Мы прошли через засыпанную дорожку. Шайтан радостно нырял в сугробы. Николай Сергеевич откинул с двери тяжелую, обледеневшую ветку и потянул на себя скрипучую, покосившуюся дверь.

Внутри пахло на меня запахом, от которого у меня перехватило дыхание. Не просто затхлостью. Запахом старой, спящей земли. Сыростью, тлением. И под всем этим – едва уловимый, сладковатый запах жизни.

Я шагнула внутрь. Было холодно, но не так, как на улице. Свет проникал тусклый через грязные, заиндевевшие стекла. Снег лежал и внутри.

Обвела взглядом пространство. Размеры приличные. Каркас из толстых деревянных брусев, местами потемневших от влаги, но в целом... крепкий. Стекла в большинстве целы.

И система. Я сразу ее увидела. Вдоль дальней стены шли кирпичные трубы, вмурованные в печь. Система отопления. Примитивная, но система! По стенам – жестяные желоба. Под потолком – деревянные рамы с форточками-фрамугами. Вентиляция. В углу стоял большой, покрытый ржавчиной чан.

Сердце забилось чаще, уже не от страха. От азарта. Я забыла, где нахожусь, забыла про Николая Сергеевича, который стоял в дверях, наблюдая.

Я подошла к печи, потрогала кирпич. Крепкий. Проверила, как ходят заслонки: одна скрипнула, но поддалась.

— Здесь же система! — сказала я вслух, обернувшись к нему. Голос звенел от возбуждения. — Печное отопление? И вентиляция вот этими фрамугами?

Николай Сергеевич молча кивнул, не отрывая от меня глаз. Его лицо было невозмутимым, но во взгляде читалось напряженное внимание.

Прошла дальше, к грядам. Они были просто земляными валами, сейчас промерзшими насквозь. Но основа есть.

— Кирпичную печь можно восстановить, — заговорила я, больше думая вслух. Ходила, разглядывала. — Стекла в основном целы, нужно вымыть, замазать щели. Здесь... здесь же можно...

Я замолчала, вдруг осознав, что болтаю без умолку. Обернулась. Николай Сергеевич стоял на том же месте, но теперь его поза изменилась. Он уже не просто наблюдал. Он слушал. Внимательно. Как равный.

— Можно что? — спросил он тихо. Не с вызовом. С интересом.

Сглотнула. Страх попытался вернуться, но его отпихивало назад это новое, странное чувство: возможность быть полезной. Быть собой. Хотя бы на минуту.

— Можно выращивать, — выдохнула я. — Зелень. Овощи. Рассаду для огорода весной. Если печь топить, здесь будет теплее, чем на улице. Света зимой мало, но для зелени – петрушки, укропа, лука – хватит.

Он медленно покачал головой, но не в отрицание. Скорее, в каком-то недоумении.

— Хлопотное это дело, — сказал он. — Дров уйдет... Да и кому оно нужно зимой? Щи да каша – сыты.

— А свежий лучок к щам? — вдруг вырвалось у меня. — Или зелень к праздничному столу?

Он посмотрел на меня, и в уголках его строгого рта дрогнуло что-то, почти похожее на улыбку.

— Балуешь, — произнес он. Но задумался.

Мы вышли из теплицы. Молчание между нами теперь было другим. Не ледяным, а каким-то занятым, общим. Шайтан побежал вперед, обнюхивая следы.

— У вас... в имении много земли под огородом? — осторожно спросила я, когда мы пошли обратно через сад.

— Огород у дома есть, — ответил он. — Небольшой. Капусту, свеклу, морковь, картошку сажаем. Основное – поля. Рожь, овес, пшеницу. Часть на продажу, часть себе.

— А севооборот соблюдаете? — спросила я, не удержавшись. Слово вырвалось само, профессиональное, точное.

Он резко повернул ко мне голову, и в его глазах мелькнуло не недоумение, а резкая, живая заинтересованность.

— Севооборот? — переспросил он, и в голосе прозвучало легкое удивление. Откуда беспамятная барышня знает такое слово? — Соблюдаю. Трехполье давно бросил, перешел на многопольную систему. Клевер, вика, люцерна идут после ржи и пшеницы. Почву держим. Но и она не железная: с каждым годом урожайность падает, хоть и не так резко, как у соседей.

Теперь удивилась я. Он говорил уверенно, как специалист. Значит, он не просто барин, а хозяйственник, знающий свое дело на уровне науки, а не привычки.

— Это она истощается неравномерно, — поправила я, уже тише, чувствуя, что попала в свою стихию и говорю с понимающим человеком. — Каждая культура тянет свое. Если точнее рассчитывать чередование и дозы удобрений... и да, бобовые — они азот фиксируют, землю обогащают...

— Азот фиксируют? — он приостановился, и его взгляд стал совсем пристальным, изучающим. Это было уже не просто любопытство к странной девушке. Это был интерес коллеги, услышавшего строгий научный термин из неожиданных уст. — Ты это... откуда знаешь? Такими словами... Это ж агрономический справочник, а не девичьи разговоры.

Я сглотнула, поняв, что опять перешла невидимую черту. «Азот», «фиксируют» — это уже не бытовые советы про капусту, это язык агрономии. Слишком профессионально для потерянной памяти.

— Не помню, — прошептала я, отводя взгляд. — Просто... знаю. Как будто всегда это было в голове.

Он не стал давить. Кивнул, но в его глазах застыла не разгаданная, а усложнившаяся загадка. Мы прошли молча еще несколько шагов.

— Слова-то какие подбираешь... — наконец произнес он, больше думая вслух. — «Севооборот», «азот»... Будто не в гостинной воспитывалась, а в аудитории. Только откуда?

В его словах не было насмешки. Была констатация факта, еще больше сближающая нас в этот момент. Между нами протянулась тонкая нить взаимного профессионального уважения.

Он вдруг остановился и обернулся. Задумчивость как рукой сняло. Передо мной снова стоял хозяин имения, готовый проверить дерзкую догадку.

— А что, раз уж ты такая знающая на словах... Хочешь посмотреть, где урожай храним и семена готовим? Увидишь, как на деле выглядит мое «многополье» и импортные сорта. Может, и там найдешь, что улучшить.

В его голосе звучал вызов. Не злой, а честный. Он вел меня не просто на экскурсию, а на смотр своих достижений и своих проблем, желая увидеть мою реакцию. Не как барышни, а как... специалиста.

— Да, пожалуйста, — тихо, но твердо сказала я.

Глава 9. Склад и вопросы (Лиза)

Он повел меня не к обычному амбару, а к более крупному, капитальному строению с высокой крышей и крепкими, обитыми железом дверями. На фронтоне я успела разглядеть выцветшую, но еще читаемую вывеску: «Зернохранилище и семенной склад №1». Это звучало солидно и по-деловому.

Дверь с глухим стуком отъехала на тяжелых петлях. Внутри пахло особым, сложным букетом: сухое, пыльное тепло зерна, запах старых, просмоленных досок, сухой извести и едва уловимый, но знакомый химический оттенок, который я с трудом идентифицировала как запах минеральных туков. Воздух был прохладным, но не сырым: явно за этим следили.

Свет проникал сверху, из зарешеченных окон под самой крышей, падая пыльными столбами на строгий порядок внутри. Это не был склад в привычном, крестьянском смысле. Здесь царил порядок. Ровные стеллажи из добротного теса. Деревянные лари и ящики с аккуратными, четко написанными бирками. На некоторых, помимо кириллицы, чернели латинские названия сортов. У стены стояли несколько запечатанных бочек с немецкими и английскими клеймами: очевидно, с импортными удобрениями или особыми семенами.

Мое сердце екнуло от неожиданного, почти ностальгического уважения. Это было хозяйство мыслящего, современного агрария. Не просто помещика, а агронома-практика.

И тут мой взгляд, против воли, включил «режим инспектора». Я начала сканировать пространство не с восхищения, а с профессиональной критики, выискивая слабые места, сбои в системе. Это было сильнее меня.

Я подошла к первому же стеллажу, где вперемишку, но аккуратно, стояли мешки. Мой взгляд скользнул по биркам, и меня будто ударило током.

«Пшеница, сорт «Кубанка», 1905».

«Рожь, сорт «Вятка», 1905».

1905.

Цифра врезалась в сознание, отозвалась глухим ударом где-то под ребрами. Не просто «старое время». Конкретный год. Я стояла не где-то в абстрактном «прошлом», а в самом конце 1905 года.

В голове беспорядочно всплыли обрывки из учебников: первая революция, Кровавое воскресенье, Манифест 17 октября... Все это уже случилось или происходит прямо сейчас, за пределами этого тихого, пахнущего зерном склада. Мир за стенами усадьбы был не просто другим. Он был кипящим, опасным и историческим.

Я на секунду замерла, пытаясь перевести дыхание. Профессионализм включился на автомате, как защитный механизм, чтобы заглушить панику.

— Разные партии храните вместе? — спросила я, указывая на соседствующие мешки с пшеницей и рожью. Голос прозвучал деловито, без предисловий, и я сама удивилась его ровному звучанию. — Даже если год один и обе семенные, риск есть. У каждой культуры — своя влажность, своя микрофлора. Могли прийти с поля с разной зараженностью. Смешивать — увеличивать риск для всей партии.

Николай Сергеевич, молчавший до сих пор, кивнул.

— Семенной фонд отделяю, как могу. Вон там, — он махнул рукой в дальний, самый сухой и светлый угол, — чистая семенная пшеница и рожь лежат, под особым присмотром. А это... промежуточное. То, что на муку пойдет или на фураж, если перезимует хорошо.

— А где у вас овощи хранятся? Картофель, лук, корнеплоды? — спросила я, следуя за его взглядом и понимая, что система, при всей её продуманности, всё же вынужденно комбинированная.

Он посмотрел на меня с новым интересом.

— Думаешь, и там найдешь, к чему придраться? — в его голосе не было злости, скорее вызов. — Пойдем. Тут рядом.

Он вывел меня из зернохранилища через боковую дверь в примыкающий, более низкий и широкий сарай. Воздух здесь был другим: гуще, холоднее, с явной влажностью и сложным запахом земли, песка и... легкой сладковатой гнили.

— Овощехранилище, — коротко представил он. — Тут картофель, свекла, морковь в песке, капуста в кочанах на полках. И лук.

Мой взгляд сразу же нашел проблему. В дальнем, самом темном и сыром углу, прямо на земляном полу, был навален картофель.

На бревенчатой стене над ним зияло темное, влажное пятно конденсата.

— Вот она, проблемная точка, — констатировала я. — Сырость и отсутствие вентиляции. Картофель лежит навалом, нижний слой не дышит. Скоро начнет гнить, и гниль пойдет по всему объему. Его нужно срочно перебрать, поднять на деревянный настил или в решетчатые ящики. И сюда, в этот угол, обязательно поставить ящик с негашеной известью: она влагу из воздуха вытянет.

Потом я подошла к большому, глубокому ларю, доверху наполненному луковицами. Заглянула внутрь и почувствовала тот самый сладковато-гнилостный запах, поднимающийся со дна.

— И лук тоже. В такой глубокой таре нижние слои задыхаются и преют. Нужна вентиляция. Идеально – неглубокие решетчатые ящики, максимум в три слоя. Или сетчатые мешки, подвешенные к балкам.

Я закончила и только тогда, запоздало, осознала полную тишину вокруг. Обернулась.

Николай Сергеевич стоял у входа, скрестив руки на груди. Он не двигался. Его лицо было каменным, но не от гнева. От глубокой, сосредоточенной мысли. Его светлые глаза изучали меня с такой интенсивностью, что мне стало жарко под теплым плащом. Он смотрел не на девушку, а на загадку. На аномалию.

Шайтан, сидевший у его ног, внимательно наблюдал за нами обоими.

— Продолжай, — сказал Николай Сергеевич тихо. Его голос был ровным, но в нем чувствовалось напряжение стальной пружины. — Что еще?

Во мне все сжалось. Я поняла свою ошибку. Я не просто давала советы. Я проводила профессиональный аудит его образцового хозяйства. И мои замечания не были дилетантскими. Они били в самые уязвимые, практические места, которые он, как хороший хозяин, наверняка знал, но на которые либо закрывал глаза из-за нехватки ресурсов, либо считал допустимыми издержками.

— Я... я все, — пробормотала я, опуская глаза. — Просто так... увидела.

— «Увидела», — повторил он медленно, отчеканивая каждый слог. Он сделал несколько шагов ко мне, и его сапоги гулко отдавались по половицам. — Про известь – умно. Практично. Не додумался, признаю. Лук в сетках... хлопотно, но, возможно, оно того стоит. А насчет раздельного хранения... — он сделал паузу, и в его глазах мелькнула усталая досада практика. — Знаю. Самому тошно. Но места, Лизонька, не хватает. Построить новый склад – капитал заморозить. Приходится уплотнять, рисковать. Ты б видела, как у Свечина или у князя Оболенского хранят: в обычных амбарах, мышам на радость. Тут хоть порядок.

Он признал мою правоту, но и четко очертил границы своих возможностей. Это была честность не барина с горничной, а одного специалиста с другим. От этого стало и страшнее, и... как ни странно, спокойнее.

Тишина в складе сгустилась, стала осязаемой. Я чувствовала на себе его взвешивающий, анализирующий взгляд.

Мне нужно было срочно сменить тему, увести разговор от этой опасной тропы. Вернуть все к более безопасному, почти мечтательному.

— А ведь там, в той теплице... — начала я, — если ее не как игрушку восстанавливать, а как серьезное подспорье... Там можно было бы не только зелень для супа растить.

Он не перебивал. Не двигался. Просто ждал, его взгляд все так же был прикован ко мне.

— Там можно было бы... клубнику к Новому году выгнать, — выдохнула я свою самую смелую, почти безумную мысль. Слово «выгнать» сорвалось само: профессиональный термин. — Сладкую. Алую. Не из семян, это долго, а из усов, что спят где-нибудь в вашем подвале, в прикопе. Разбудить их, обмануть зиму.

Он замер. Абсолютно. Даже, кажется, перестал дышать. Потом медленно, очень медленно покачал головой. На его суровом, обветренном лице появилось выражение, которого я раньше не видела. Не насмешка. Не недоверие. Скорее, глубочайшее изумление, переходящее в непонимание. Как если бы он увидел, как кошка вдруг начала говорить на латыни.

— Клубнику? — переспросил он тихо, и его голос вдруг осип. — Выгнать... к Новому году?

Он сделал долгую паузу. Воздух в складе казался вымороженным.

— Лизонька, — произнес он наконец. — Ты... Ты либо гений агрономии, с неба мне на голову свалившийся. Либо...

Он не договорил. Но недосказанное висело между нами, тяжелее и опаснее любой прямой угрозы: «Либо кто-то совсем иной. Нечисть какая-то».

Подошел еще на шаг, сократив расстояние до минимума. Не чтобы напугать. Чтобы видеть все. Каждую дрожь ресниц, каждый оттенок на бледной коже.

— Кто ты? — спросил он уже без всяких «на самом деле». Просто, прямо. — Откуда в тебе это? «Азот». «Севооборот». «Выгнать». Откуда этот... взгляд? Ты смотришь на мое хозяйство не как барышня, не как крестьянка. Ты смотришь на него как инженер на машину. Прости за сравнение, но другого не подберу. Так женщины не смотрят. Так никто из тех, кого я знаю, на простое добро не смотрит. Ты видишь слабину. Предлагаешь решения. Таких... таких женщин не бывает. Не в наших краях. Не в наше время.

Я не могла ответить. Горло сдавил спазм. Я просто смотрела на него, чувствуя, как холодный пот выступает под теплой одеждой. Я сама, своим рвением, своей неспособностью притворяться, загнала себя в глухой тупик.

Он тяжело, с хрипом выдохнул.

— Ладно. Хватит на сегодня.

Резко развернулся, его плащ взметнулся.

— Идем. В дом.

Его голос не допускал возражений. Это было не приглашение, а конвоирование. Он не выпускал меня из поля зрения, жестом указав к выходу, и сам пошел вперед, явно ожидая, что я последую.

Шайтан, посмотрев на меня своими умными, всепонимающими глазами, тихо взвизгнул и рысцой направился за хозяином, оборачиваясь, словно проверяя, иду ли я.

Мы вышли из прохладного полумрака склада на ослепительно-белый, морозный двор. Николай Сергеевич шел на шаг впереди, не оборачиваясь, его спина была прямая и непроницаемая. Он не вел меня, он возвращал. С холодного простора двора под крышу. С вольного воздуха вопросов под его неусыпный контроль. Это не было заточением в четырех стенах. Это было водворение под стражу его внимания.

На крыльце он на мгновение задержался, пропуская меня вперед. Когда я поравнялась с ним, он произнес тихо, уже не глядя на меня, а куда-то в свинцовую даль неба:

— Сейчас отдыхай, Лизонька. Завтра мы поговорим. О тебе.

И, не дожидаясь ответа, шагнул за мной внутрь, гулко захлопнув тяжелую дверь, отсекая последний намек на побег.

Я осталась в прихожей, в густеющих сумерках, одна, если не считать его незримого, давящего присутствия где-то рядом. В пальцах, сжатых в кулаки, еще дрожал азарт от найденной теплицы, от мига подлинного равенства в разговоре с ним. Но в груди, на месте этого мига, зияла теперь черная, ледяная пустота. Я сама выкопала ее своими знаниями, своей неспособностью молчать.

Первый, осторожный экзамен на «Кто ты?» был провален с треском. Теперь начиналось другое испытание. Более жесткое. Более прямое.

И отступить было уже некуда.

Глава 10. Вечерние размышления

(Николай Каменев)

Дверь в прихожей захлопнулась с таким гулом, будто я не в дом вошел, а в камеру заперся. От Лизы. От ее слов, от этого взгляда, который за секунду превратился из испуганного в оценивающий, профессиональный. Даже не взгляд, а прицел.

Я прошел в кабинет, скинул сюртук, бросил его на кресло. Сел за стол. Молчал.

В голове было пусто и шумно одновременно. «Клубнику... к Новому году... выгнать». Слова вертелись, как глупый припев. И не сами слова, а то, как они были сказаны. Уверенно. Термином. «Выгнать» — это не бабушка на печке сказала. Это из журнала. Из научной статьи.

Откуда?

Я закрыл глаза. Видел ее перед собой: сначала в овраге: комок тряпья с глазами загнанного зверька. Потом сегодня уже на ногах, у погребка. Она стояла не как зритель, не с праздным любопытством. Стояла как хозяйка. Сосредоточенно смотрела на кадку, что-то говорила Мавре, с жестом точным, объясняющим. Вид у нее был... деловой. Как у меня, когда я смотрю на ведомость или проверяю партию зерна.

Потом она обернулась. Увидела меня. Испуга не было, скорее настороженность. И смущение, будто поймали на чем-то, чего делать не должна.

А потом Шайтан... Пес, который на своих ворчит, к ней подбежал и лег у ног. Как к своему. Будто знал. Или почувал что-то, что нам, людям, не дано.

Сколько ей? Восемнадцать лет, не более. Руки белые, тонкие, без единой зазубрины. Голос тихий, а говорит... как человек, знающий землю не по книгам. «Азот фиксируют», «севооборот» ... Да я таких слов от соседа-помещика не всякий раз услышу. А тут девочка.

Кто ты, Лизонька?

Начал перебирать варианты. Мысли путались, не желая складываться в картину.

Воспитанница богатого, передового имения? Пожалуй, единственное, что хоть как-то лезло в рамки. Выписывают же немцев гувернанток, учат дочек не только танцам... Но нет. Прогрессивные помещики в округе были, я их знал. Князь Оболенский, но у того сыновья, взрослые уже. Свечин, но дочери замужем, в Петербурге живут. Да и стали бы они так девочку учить? Чтоб она по складам лазила и про азот говорила? Сомнительно. Барышня ее круга – это наряды, визиты, удачная партия. Но не влажность зерна.

Прислуга? Смех. Таких рук у прислуги не бывает. Да и взгляд не тот: не робкий, не опущенный. Оценивающий.

Беглая институтка? Из Смольного, что ли? Там, говорят, и правда наукам учат. Но агрономии? Вряд ли. Да и сбежала бы она не в лес, а на станцию, в город.

Городская жительница? Могла бы. Но откуда знание? В городе про хранение капусты не учат. Разве что в семьях садовников, огородников... но опять же – руки. Белые руки.

Тупик. Каждый вариант разбивался об одно: ее знания и ее вид не стыковались. Как будто в одном человеке уживались две разные жизни: барышня и практик. И обе чужие для наших мест.

1905 год на дворе. В Петербурге бунтуют. Газеты кричат. Может, она как-то связана... Но сразу отшел. Какая связь? Шпионка в овраге, замерзающая? Смешно. И зачем бы она стала мне, простому помещику, про клубнику рассказывать? Уж если шпионить, так тихо сидела бы в углу, глаза в пол.

Нет. Это что-то другое. Что-то, чего я не понимаю.

Земля... она вот не понимает политики. Ей что 1905 год, что 1805-й – все равно. Сеешь рожь, значит, рожь и всходит. Вносишь навоз, земля жирнее становится. Просто. Ясно.

Я к простому привык. К тому, что можно пощупать, взвесить, посчитать. А тут... загадка. Живая, дышащая, с серыми умными глазами.

Голова раскалывалась. Я встал, подошел к окну. За стеклом сгущались сумерки, только в людской, как обычно, огонек еще светился. Мой мир. Простой, налаженный. И в него ворвалась эта... необъяснимость.

В дверь постучали. Тихо, но настойчиво.

— Войдите.

Вошла Пелагея. Лицо у нее было озабоченное, как перед большой стиркой. В руках теребила кончик фартука.

— Барин, прости за беспокойство. Насчет гостей... Говорить надо. Не по себе что-то.

— Садись, няня. В чем дело?

Она присела на краешек стула, вздохнула так, будто груз с плеч сваливала.

— Девушка-то... не то чтобы плохая. Но странная. Совсем не наша.

— Это я заметил. Говори яснее.

— Яснее? — Пелагея выпрямилась, глаза ее загорелись тем самым огоньком, что бывает, когда она ловит кого-то на вопиющем нарушении порядка. — На «вы» она, барин.

Я помолчал, ожидая продолжения. Оно не последовало.

— На «вы»? — переспросил я. — Кому?

— Всем! — выпалила Пелагея, разведя руками. — И мне сказала «спасибо вам»! Прислуге-то! Даже холоп к барину на «ты», а она всем «вы»! Где это видано? Какие такие порядки у них там были, позвольте спросить?

Я кивнул, стараясь сохранить серьезность. Деталь. Мелкая, но уж очень колючая. Вот это «выканье» к простой горничной... Это действительно выламывалось из всего привычного уклада. Так не только барышни не делали: так вообще никто не делал. Это было... неестественно. Как будто она не различала людей по чинам. Или различала как-то иначе.

— Ну и что еще? — спросил я, отложив эту мысль в сторону.

— Одевается сама! — продолжила Пелагея, уже набравшись духу. — Пуговицы застегивает, хоть и коряво. Барышня бы ждала, пока ее оденут. У этой руки не приспособлены, видно, а она упрямится. И про обувь! Спросила, валенки поверх чуней надевать? Чуни-то домашние! Я аж опешила. Совсем не знает, как живут-то люди. Диковинка!

Я слушал, не перебивая. Каждое слово ложилось в общую картину. Не чисть. Не сумасшедшая. А... человек из другого уклада. Где на «вы» говорят даже прислуге. Где одеваются иначе. Где нет чуней.

— Ну и про капусту с яблоками, — Пелагея махнула рукой, но голос ее стал еще настойчивее. — Подошла к кадке, стала учить: и гнет, говорит, мыть надо, и горчицу сыпать, и известь в погреб ставить, чтобы сырость убрать. Умно, не спорю, может, и впрямь поможет. Но когда Мавра спросила, откуда она такое знает, глаза в сторону отвела. Мол, был, дескать, у нас в имении немец-садовник, у него научилась. Врет, Николай Сергеевич. Чует мое сердце, что врет. Не было у нее никакого немца. Такое вранье на ходу не от добра.

Она откинулась на спинку стула, выдохнула.

— Нечисто тут что-то. Либо ум отшибло совсем, либо... не от мира сего она. Крестилась я, как она эти слова говорила. Страшно.

Я молчал. Пелагея смотрела на меня, ждала решения, приказа, успокоения.

— Спасибо, няня, — сказал я наконец. — Смотри за ней. Корми, пои. Не пугай. А насчет «не от мира сего» ... брось. Она человек. Просто... другой какой-то. Не наш.

Пелагея фыркнула, но кивнула.

— Ладно уж. Как скажешь. Только ты, барин, сам гляди в оба. Сердце не камень, пожалеть — пожалеешь, а там...

— Я знаю. Иди.

Она ушла, оставив меня с тишиной и своими наблюдениями. Они не прояснили ничего, но сделали картину еще более странной. «Не наша». Да. Но откуда?

И тут я вспомнил про клубнику. К Новому году. Выгнать.

Слово «выгнать» опять ударило в виски. Я встал, прошелся по кабинету. Остановился у полки с книгами и журналами. «Земледельческий журнал», «Сельский хозяин» ... Старые номера. Я листал их когда-то, выискивая новые методы.

И вдруг вспомнил. Читал. Не про клубнику, а про выгонку цветов. Ландышей, тюльпанов. В оранжереях. За границей всю практикуют. Обманывают зиму, создают весну под стеклом. Тепло, свет, влажность, и растение просыпается не в свой срок.

Значит, не бред. Не волшебство. Наука. Пусть редкая, малодоступная, но наука.

А она знает. Она сказала это легко, как о чем-то обыденном. И про азот сказала. И про севооборот.

Мозг, привыкший к практическим решениям, заработал по-другому. Не «кто она?», а «что она может?».

Если это знание... Если она и вправду может то, о чем говорит... Тогда это не проблема. Это дар. Шанс. Возможность узнать то, чего я не знаю. Сделать то, что не умею.

Клубника к Новому году. Смешно. Нелепо. Дорого, наверное. Но... а если?

Чем черт не шутит.

Риск? Да. Но я не из тех, кто боится риска. Бросил же трехполье, когда все соседи крутили у виска. Ввел многополье, клевер. Выписывал немецкие сорта, удобрения. Земля отдала урожай. Значит, был прав.

А тут... земля молчит. Зима. Но под стеклом, может, и заговорит. Если дать ей шанс.

Решение вызрело быстро, почти само. Я не судья. Я – хозяин. Хороший хозяин не отвернется от нового только потому, что оно странное. Он должен проверить.

Проверим.

Завтра поговорим. Но не так, как сегодня. Не с подозрением. С предложением.

«Вот тебе теплица, Лизонька. Рухлядь. Хочешь – оживляй. Докажи, что твои слова чего-то стоят. Не сможешь, значит, фантазерка. Сможешь... тогда поговорим по-другому».

Я погасил лампу. В кабинете стало темно. За окном по-прежнему чернела ночь, но теперь она не казалась такой глухой. Где-то там, в старой оранжерее, под слоем снега и забвения, возможно, спал шанс. На что, я еще не знал. Но было интересно.

Интересно, как на охоте, когда не знаешь, кто выскочит из кустов, но ружье уже наготове.

Завтра. Увидим.

Глава 11. Деловой пакт

(Лиза)

Сон накануне важного разговора – штука предательская. Вместо того чтобы выспаться и собраться с мыслями, я всю ночь проигрывала в голове один и тот же трек под названием «Идиотка, идиотка, идиотка».

Картинки всплывали самые живописные: я размахиваю руками у кадки с капустой, как заправский лектор на сельхоз-выставке. Я сыплю терминами «азот» и «севооборот» с видом слушательницы Высших женских сельскохозяйственных курсов тех времен. И, вишенка на торте, моя гениальная идея про клубнику к Новому году, выпаленная с энтузиазмом первооткрывателя. В теперешнем-то веке.

— Молодец, Лиза, — бубнила я себе, ворочаясь на скрипучем сеннике. — Не постеснялась. Теперь думай, как из этого переплета выбираться.

Утро пришло серое, нерешительное, но голова наконец-то была ясной, а тело послушным. Одевалась я уже на автомате, пальцы ловко справлялись с мелкими пуговицами и тесемками.

Вчера, после всей истории с погребом, я все же осмелилась попросить у Анюты гребень. Девушка принесла мне простую деревянную расческу и пару смущенных советов насчет кос. Война с густыми длинными волосами была долгой и кровопролитной, но я добилась своего: коса, хоть и не идеальная, висела ровно на спине, не расплетаясь и не торча колючим кустом. Это была маленькая, но важная победа над хаосом. Казалось, если уж я смогла укротить эти непокорные пряди, то, возможно, справлюсь и со всем остальным.

Решив, что сидеть в комнате в ожидании приговора худшая из пыток, я осторожно вышла в коридор. Тишина. Спустившись вниз, я застыла в нерешительности у двери в столовую. Оттуда доносился тихий стук ножа и вилки о тарелку.

Сделала глубокий вдох и вошла.

Николай Сергеевич сидел за большим дубовым столом один. Перед ним стояла полупустая тарелка от яичницы, и он доедал кусок хлеба, параллельно просматривая какую-то бумагу. Он выглядел сосредоточенным, деловым, но не мрачным.

Увидев меня в дверях, он на секунду оторвался от листа, кивнул и жестом указал на место напротив.

— Садись. Позавтракай.

Это не было ни сердечным приглашением, ни проявлением особой вежливости. Скорее, констатацией факта: раз ты здесь и на ногах, то стол общий. И это уже было что-то. Шаг в сторону нормальности. Не изгой, не затворник, а... пока не понятно кто. Но хотя бы человек, с которым можно разделить трапезу.

Пелагея, появившись из кухни с подносом, лишь чуть приподняла брови, увидев меня за столом, но ничего не сказала. Ее молчание было красноречивее любых слов: если барин разрешил, значит, так надо. Поставила передо мной тарелку с той же овсянкой, ломоть хлеба и кружку чего-то пахучего.

Пока я осторожно придвигала к себе тарелку, до меня донесся знакомый, успокаивающий аромат: мята, душица, может быть, липа... И что-то горьковатое, возможно, зверобой или тысячелистник. Простой, крестьянский травяной сбор. Мой мозг, привыкший анализировать, тут же отметил: хороший успокоительный и противовоспалительный набор. Я сделала первый глоток: горячий, с легкой сладостью меда.

Ели молча. Тишину нарушал только скрип его пера, когда Николай Сергеевич что-то помечал на бумаге, да тиканье больших стенных часов. Было неловко, но это казалось здоровее вчерашнего ледящего напряжения.

Он отложил перо, допил чай и откинулся на спинку стула, изучая меня.

— Выглядишь бодрее. Ноги слушаются?

— Да, спасибо, — кивнула я. — Гораздо лучше.

— Ладно. Значит, можем поговорить по-деловому. Пойдем в кабинет.

Сердце екнуло, попыталось спрятаться куда-то в районе пяток. Ну что ж. Пришло время платить по счетам. Я проглотила последний кусок хлеба, от которого в горле встал комок, и отправилась на казнь.

Кабинет Николая Сергеевича оказался именно таким, каким и должен быть кабинет думающего помещика: солидным, немного сумрачным и пахнущим табаком, кожей переплетов и спокойной мужской уверенностью.

Я вошла и замерла у порога, не зная, что уместнее: сесть, стоять или сразу начать оправдываться.

Он повернулся. Лицо было серьезным, но без вчерашней ледяной настороженности. Скорее уставшим и решительным.

— Садись, Лиза.

Я осторожно опустилась на краешек жесткого кожаного кресла напротив массивного стола. На столе царил образцовый порядок: стопки бумаг, пресс-папье в виде чугунного медведя, чернильный прибор. И никаких лишних деталей.

Николай Сергеевич прошелся взглядом по мне, будто сверяя с невидимым списком. Потом сел в свое кресло, сложил руки на столе.

— Давай говорить прямо, — начал он без предисловий. Его голос был ровным, деловым. — Я не знаю, кто ты. Откуда. И твоя тайна — пока твое личное дело. Выглядит это все... дико. Барышня с руками белейшими и головой, полной знаний, каких в наших пансионах не преподают. Найдена в лесу, без памяти. Сказка, да и только.

Он сделал паузу, давая словам улечься. Я молчала, сжав пальцы на коленях.

— Но я — не сказочник. Я — хозяин. И привык ценить то, что приносит пользу. А твои вчерашние слова... насчет склада, хранения, этой твоей клубники... — он чуть поморщился,

произнося последнее слово, будто оно было ему физически неприятно своей нелепостью. — Они имеют вес. Не болтовня. Ты смотришь и видишь то, мимо чего другие проходят. Это редкость.

Во мне что-то дрогнуло: не страх, а настороженная надежда.

— Поэтому я предлагаю тебе сделку, — продолжил он, и его глаза стали жесткими, как у купца на торгах. — Ты приводишь в порядок ту рухлядь, что зовется оранжереей. Доказываешь на деле, что твои идеи чего-то стоят, что они могут принести хоть какую-то реальную пользу этому хозяйству. Не фантазии, а результат. А я, в свою очередь, предоставляю тебе кров, защиту, пищу и минимальные ресурсы для твоих... экспериментов. Это – договор. Четкий, деловой.

Он откинулся на спинку кресла, изучая мою реакцию.

— Почему? — выдохнула я, не в силах сдержаться. — Вы же не верите мне. Считаете... странной.

— Странной – да, — согласился он. — Но бесполезной еще нет. Мой отец, царство ему небесное, говаривал: «Коли диковинная птица залетела, сначала посмотри, не несет ли она в клюве золотое зернышко. А уж потом решай, гнать ее или нет». Я решил посмотреть. Риск? Возможно. Но я рискую лишь дровами, старыми досками и своим временем. А ты... ты рискуешь всем.

Он был прав. Это был мой единственный шанс. Не быть нахлебницей, загадкой, потенциальной сумасшедшей. Стать полезной. Заработать свое место под этим странным, зимним небом.

— Я согласна, — сказала я твердо, встретив его взгляд. — На ваших условиях.

Уголок его рта дрогнул: не улыбка, но что-то близкое к одобрению.

— Отлично. Денег у меня лишних нет, но кое-что выделю. Стекло, известь, гвозди. Скажешь, я распоряжусь. И помощника тебе дам. Фомича. Старый наш садовник, еще отцу служил. Руки золотые, но язык... острый. Не обессудь. Он знает каждую щель в этом хозяйстве. Если у нас и сохранилось то, что можно оживить, он поможет найти.

Так был заключен наш пакт. Без рукопожатий, но с взаимным пониманием: я получала шанс, он – потенциальную выгоду и ответ на часть своих вопросов.

Фомича я встретила у заднего крыльца через час. Он оказался невысоким, жилистым стариком с лицом, похожим на высохшую кору старой яблони, и прищуренными, очень умными глазами. Увидев меня, он не поклонился, лишь кивнул, оценивающе оглядев с ног до головы.

— Так это ты, та самая... находка? — проскрипел он. Голос был хриплым, как скрип несмазанных ворот. — Про клубнику сказывала? Барин сбрендил, спору нет. Но приказал, делаем.

— Здравствуйте, Фомич, — сказала я, стараясь говорить уважительно, но без заискивания. — Будем искать маточные кусты, отводки. Усы, луковицы-детки... все, что с осени прикопали, может, и сохранилось.

— Ма-точ-ные, — протянул он, будто пробуя слово на вкус. — Ладно. Пойдем, барышня-агроном, поковыряемся в дедовских залежах. Авось, и найдем твое счастье.

Мы начали с подвала под кухней. Царство запахов: квашеная капуста, соленые грибы, сушеные яблоки, земля. Фомич, ворча себе под нос, ловко отодвигал бочки, заглядывал в темные углы. Он знал свое хозяйство, как свои пять пальцев.

— Вот тут, бывало, лук-севок хранили... А здесь репку... — бормотал он.

Мы перебрали несколько сундуков, нашли пару мешков с подозрительно сморщенным луком-пореем и связки каких-то корешков, которые Фомич с сомнением определил как «хрен, али что».

Клубники не было. Отчаяние начало потихоньку подползать к горлу. Что, если ничего нет? Мой «деловой пакт» лопнет, не успев начаться.

— В садовом амбаре больше ничего нет, — хмуро подвел итог Фомич, вытирая пот со лба.

— Там одни лопаты да вилы. Разве что... — Он замер, и его помятое лицо скривилось в мучительной попытке что-то выудить из памяти. — Эх, голова-решето... Будто вертится на языке...

— Что вертится, Фомич? — мягко подтолкнула я.

— Да вот, покойный барин, отец нынешнего... — старик тыкал пальцем в висок, будто стучался в заевшую дверь. — Перед самой-то кончиной, это осенью... Подозвал меня, говорит: «Фомич, отбери ты мне усов от той клубники, что второй урожай дала. Самые сильные. Прикопай в старом амбаре, в левом углу, под самой стеной. Я весной эксперимент проведу». Ну, я отобрал, прикопал, как велел. А потом... хозяин-то наш, горемыка, вскорости Богу душу отдал. Похороны, суета... Николай Сергеич в делах по уши, не до ягод. Я-то... я и запомнил, прости Господи. Совсем вылетело из головы.

Во мне вспыхнула надежда, острая и жгучая.

— Старый амбар? Тот, что у сада? Вы точно помните, левый угол?

— Как не помнить! — оживился Фомич, и в его глазах мелькнула уверенность. — Пойдем, должны быть на месте.

Старый амбар, низкий и пахнущий прелым сеном и мышами, встретил нас полумраком. В левом углу, у самой стены, лежала груда всякого хлама: пустые мешки, сломанные грабли, свернутая ржавая сетка. И прямо посередине этого беспорядка, плотно придвинутый к стене, стоял большой, дубовый, обитый железными полосами сундук. Он выглядел здесь чужеродно и громоздко, как слон в курятнике.

Фомич, подойдя ближе, сплюнул с досадой.

— Да чтобы ему пусто... Сундук-то домашний, из коридора. Видать, после похорон, когда вещи перебирали да растаскивали, кто-то из дворовых его сюда закатил. Место, видишь, свободное показалось. И поставил прямиком... — он пнул сапогом в узкую щель между днищем сундука и земляным полом, — прямиком на мой прикоп. Вот так всегда. Сделаешь дело по уму, а потом какой-нибудь остолоп...

Значит, они там. Прямо под этой дубовой глыбой. Мое сердце заколотилось, смешав нетерпение с раздражением.

— Нужно сдвинуть, — сказала я твердо, уже скидывая с плеч неудобный плащ.

Фомич фыркнул и посмотрел на меня с укоризной.

— Ты-то с чего? Место своё знай, барышня. Не бабское это дело сундуки ворочать. Я сам, может, справлюсь.

— Вдвоем быстрее и безопаснее, — парировала я, подходя к противоположной стороне. — А то сорвете спину в одиночку, и кто мне тогда помогать будет?

Он что-то неодобрительно пробурчал про «неслыханное дело» и «барин бы только не увидел», но, видя мою решимость, плюхнулся рядом, ухватившись за массивную железную оковку.

— Ладно уж, раз такая прыткая... Только не ори потом, что палец прищемила. Держись крепче. Тяжеленный, пудов на пять, не меньше.

Мы ухватились за холодное железо, впились ногами в земляной пол. Сундук не думал поддаваться.

— Ну, раз уж взялась... — процедил сквозь зубы Фомич. — Раз-два, взяли!

Мы рванули. Сундук с противным скрежетом сдвинулся на пару вершков. И в этот момент раздался приглушенный, но очень выразительный стон. Фомич отпрянул, втянув воздух сквозь зубы, и схватился за ладонь.

(Лиза)

В темном свете лампы я увидела, как из его кожи торчит огромная, грубая щепка, размером с палец. Кровь, темная и густая, уже сочилась вокруг, заливая грязь и занозу.

— А-а-а, чтоб те... — зашипел старик, бледнея. Его лицо исказила гримаса боли и злости. Он инстинктивно прижал окровавленную ладонь к животу.

Первая мысль была абсолютно идиотской: «Ну вот, отлично. Мой первый деловой день, и я уже калечу персонал». Но паника длилась ровно две секунды. Потом включилось что-то другое. Холодное, четкое. Как будто я не в пыльной кладовке начала XX века, а в своей лаборатории, где случилась стандартная внештатная ситуация.

Первое правило: эвакуировать пострадавшего из опасной или неподходящей среды. Я не медик. Но любой агроном, хоть раз поработавший в поле или в теплице, знает базовые вещи: как остановить кровь, обработать рану и не дать развиваться заражению. Жизнь научила.

— Держитесь, Фомич. Не давите на рану. Идем в дом, там свет и все под рукой, — сказала я твердо, легонько подталкивая его под локоть здоровой руки, направляя к выходу из кладовки. — Не задерживайтесь тут в пыли.

Он, скривившись от боли, но твердо стоя на ногах, отмахнулся.

— Да отстань, не маленький! Сам дойду. Руку-то поранил, а не ноги отшиб.

— И отлично. Тогда идем быстрее, — не стала спорить я, понимая, что его упрямство — хороший знак. Главное вывести его отсюда и взять процесс под контроль.

— Пелагея! — крикнула я, едва мы вышли из амбара на свежий морозный воздух и добрались до дома. Голос прозвучал звеняще и властно. — Срочно! Кипятку, чистого полотна и самого крепкого, что есть: водка, спирт! В кухню!

Он шел рядом, зажав раненую ладонь в кулак здоровой руки и что-то негромко бормоча себе под нос проклятия в адрес сундука, щеп и вообще всей этой затеи. Я шагала чуть впереди, на ходу составляя в голове план действий.

Мы вошли в теплые, пропахшие пищей и дымом сени. Фомич, без лишних слов, опустился на лавку у двери в кухню, где свет из-под притворенной двери падал ровной полосой. Лицо его было серым от напряжения, но глаза горели яростью и обидой.

— Вот, уселся. Довольна? — буркнул он.

Прибежала Пелагея, неся миску с парящей водой и кусок грубого, но чистого полотна. За ней, округлив глаза, мялась Аня с бутылкой.

— Хлебное вино, ядреное, — сказала Пелагея, и в ее взгляде читался уже не просто испуг, а что-то вроде азарта перед лицом общей беды.

— Света! Побольше света сюда! — скомандовала я, и Аня бросилась ставить на стол еще одну лампу.

Теперь, при хорошем освещении, я смогла как следует осмотреть рану. Щепка вошла глубоко, рядом с большим пальцем, и была вся в зазубринах и старой грязи. Сепсис. В этих условиях, без антибиотиков... Мысль была леденящей. Но отступать было некуда.

— Пелагея, нож! Чистый, острый, и еще кусок полотна!

Пелагея, не спрашивая, метнулась к столу и вернулась с небольшим, но отточенным кухонным ножом. Я взяла его за лезвие, обернутое в чистый край холста, который она тут же сунула мне в руку, и несколько раз энергично протерла клинок тканью, смоченной в хлебном вине. Спирт выжжет хоть что-то, надеялась я. Не идеальная стерилизация, но вода кипятилась, нож был чистым в бытовом смысле, это уже что-то.

— Держите его крепче, — скомандовала я, уже моя собственные руки в принесенной воде. — Фомич, слушайте. Смотрите вон на ту трещину в потолке. Дышите глубже. Ровно.

Он уставился в указанную точку, скрипя зубами, но дыхание его постепенно выравнивалось.

— Сейчас будет больно. Один раз. Глубокий вдох.

Он кивнул, стиснув зубами. Я аккуратно, но быстро кончиком обработанного ножа рассекла кожу вдоль занозы, чтобы легче было извлечь. Старик аж подпрыгнул, но не закричал. Потом, бросив нож в сторону и снова протерев руки, я ухватила за торчащий конец щепы чистыми (насколько это было возможно) пальцами и, равномерно потянув, вытащила ее. Длинную, грязную, с волокнами.

Фомич выдохнул со стоном. Я тут же залила рану хлебным вином, он взвыл уже по-настоящему, быстро промыла кипяченой водой и туго перевязала чистым полотном, сделав давящую повязку.

— Все, — сказала я, отступая на шаг. Руки у меня слегка дрожали, но голос был спокоен. — Теперь, Пелагея, слушайте внимательно. Менять повязку нужно каждый день. Перед этим необходимо вымыть руки, ошпарить кипятком тряпицу. Следите за рукой. Если появится сильный жар, краснота пойдет выше, опухоль, или он начнет бредить, сразу ко мне или к барину. Поняли?

Пелагея кивнула, глядя на меня совсем другими глазами. Не как на диковинку. А как на того, кто в критический момент знает, что делать. В ее мире это ценилось выше любых титулов.

Фомич, бледный как полотно, сидел, прижимая перевязанную руку к груди. Потом медленно поднял на меня взгляд. В его прищуренных глазах не было ни страха, ни подобострастия. Было суровое, профессиональное уважение.

— Баба... — проскрипел он хрипло. — А хватка у тебя... твердая. И не визжала. Молодец.

Это была высшая похвала. Я кивнула, вдруг почувствовав дикую усталость. Но мысль о сдвинутом сундуке и том, что могло быть под ним, не давала покоя.

— Вы тут посидите, не шевелите рукой, — сказала я Фомичу. — А я... я схожу, проверю тот сундук. Сдвинули ведь его чуть-чуть. Анюта, подсобишь?

— Я схожу, барышня, — живо отозвалась Анюта, которой, похоже, не терпелось вырваться из напряженной атмосферы кухни и посмотреть на «диковинку» своими глазами.

Мы вернулись в темный амбар. При свете фонаря я осторожно заглянула в щель под сдвинутым сундуком. И замерла.

В небольшом углублении в земляном полу лежало несколько глиняных горшков, прикрытых гнилой рогожей. Я откинула ее и ахнула.

В горшках, в почти сухой земле, лежали бледные, полуживые, но УСЫ. Усы клубники. Рядом луковицы тюльпанов, мелкие, сморщенные, но целые.

— Вот же они... — прошептала я.

Мы бережно, как драгоценность, перенесли находку в дом, в кухню, и поставили на стол. Фомич, увидев горшки, едва не подпрыгнул, забыв про боль.

— А, чтоб меня... Да это же та самая, королевская, что покойный барин из Петербурга выписывал! Думал, все сгинуло. А они... спят.

Я взяла один горшок в руки, ощущая под пальцами шершавую глину. Спят. Да. Но их можно разбудить.

Именно в этот момент в кухню, видимо привлеченный непривычной суетой и голосами, вошел Николай Сергеевич. Его взгляд скользнул по перевязанной руке Фомича, по моему бледному, сосредоточенному лицу, по горшкам на столе. В его глазах я прочла сложную смесь: удивление, переоценку и то самое деловое удовлетворение.

— Нашли? — спросил он просто.

— Нашли, — кивнула я, поднимая горшок. — Маточки. Теперь нужно их реанимировать, а потом будить.

Он молча кивнул, его взгляд задержался на моих руках, запачканных землей и чуть тронутых кровью Фомича.

— И это тоже умеешь, — отметил он. В его словах прозвучала не потрясенность, а деловитое одобрение. — Не теряешь головы.

— Стараюсь, — выдохнула я, и вдруг почувствовала, что губы сами растягиваются в слабую, усталую улыбку.

Глава 13. План, навоз и чай

«Лиза, ты не гений, ты просто очень наглый и очень напуганный трудоголик на чужой территории». С этой мысли пришлось начинать работу. И, надо сказать, мысль эта подталкивала не хуже любой другой мотивации.

Фомич, с тщательно перевязанной, как я и наказывала, рукой, явился на порог старой оранжереи на следующее же утро. Выглядел он мрачнее тучи, но в глазах читалось упрямое любопытство. Как кота, которого выгнали с дивана, но он все равно крадется обратно, делая вид, что просто осматривает владения.

— Что вы тут стоите, Фомич? Руку беречь велено, — сказала я, отдирая от рамы комок засохшей замазки. — Ну как, заживает? Не беспокоит? Смотрите, занесете грязь, нагноится, и прощай. Такие случаи, я думаю, бывали?

Старик нахмурился, пожевал беззубым ртом и буркнул:

— Бывало... Митьку-плотника, царство ему небесное, от занозы под ногтем свело в лихорадке. Три дня мучился, а на четвертый Богу душу отдал.

— Вот и согласуйте. Присяжьте на бревнышко, будете моим главным советчиком... бригадиром, — объявила я, присвоив ему звание, о котором здесь, конечно, не слыхивали.

Он фыркнул, но уселся на чурбачок, водрузив здоровую руку на колено. Поза была исполнена достоинства оскорбленного монарха.

Работы, как и ожидалось, был непочатый край. Первый день мы с ним посвятили ревизии. Я, с выпрошенной у Пелагеи книгой для записей – толстый том в клеенчатом переплете, где чистые листы серой оберточной бумаги чередовались с исписанными хозяйскими счетами, – и угольком, делала заметки. Фомич, тыча здоровой рукой, комментировал.

— Стекла вот эти, на северной стороне, — сказал он, тыча пальцем, — их еще покойный барин велел двойными ставить, от мороза. Щели, гляди, повылезали. Замазка-то старая, на одном мелу. Трещит. Надо на свежую менять, с волосом: она тягучая, морозу не боится.

— С волосом? — переспросила я, приостанавливая запись.

— С конским, — не задумываясь, ответил Фомич. — Он и длинней, и прочней. В дело мешается: как прутья в глине, держит намертво. Без волоса любая замазка усохнет да в щебень рассыплется.

— Менять, — кивнула я, с новым уважением глянув на старика с перебинтованной рукой, и вывела: «Стекло сев. – конопатить, новая замазка (конский волос обязательно)».

— Печь... — он подошел, постучал костяшками пальцев по кирпичу. Звук был глуховатым в одном месте. — Здесь поддувало забилося, наверное. И кирпич треснуть мог от сырости. Топить нельзя, пока не разберем, не посмотрим.

— Значит, печь – задача номер один, — заключила я. — Без тепла все остальные планы бесполезны.

— А грядки эти... — Фомич пнул ногой промерзший земляной вал. — Земля-то спит. Мерзлая. Ее бы сначала прогреть чем.

— Прогреть, — согласилась я, и мысль о навозе, горячем, «горящем», сама собой пришла в голову. Но для этого нужен был не просто навоз, а правильный навоз. И разрешение его взять. И, желательно, помощь, чтобы его притащить.

Уже за полдень у меня был приблизительный план на бумаге и тяжелая уверенность, что в одиночку я не справлюсь даже с десятой его частью.

Эта мысль не давала покоя. Не откладывая в долгий ящик, я прямо из оранжереи отправилась искать Николая Сергеевича. Нашла его не в кабинете, а в том самом складе, где мы с ним разговаривали о зерне. Он стоял у открытого ларя с семенами, пересыпал что-то из мешка в мешок, и его лицо было сосредоточенным.

— Николай Сергеевич, можно вас на минуту?

Он обернулся, отложил совок.

— Лизонька? А я думал, ты там, в своей теплице, до ночи копать будешь. Ну как, рухлядь разглядела?

— Разглядела, — кивнула я. — И составила список того, что нужно сделать в первую очередь, чтобы она перестала быть рухлядью. Главное – печь. Ее нужно проверить и, возможно, частично переложить. Без тепла ничего не получится.

— Логично, — согласился он. — Фомич разберется.

— Фомич с одной рукой, — напомнила я осторожно. — Ему физически тяжело. И потом, даже если печь починим, землю в грядках нужно прогреть. И тут...

Я сделала паузу, собираясь с духом для самой практичной и самой «пахучей» части своего плана.

— Тут нужен навоз. Конский. Полуперепревший. Не свежий.

Он слушал, не перебивая, его взгляд был пристальным и оценивающим. На слове «не свежий» его брови чуть дрогнули.

— Навоз, — повторил он, и в голосе послышалось недоумение. — Свежего за конюшней каждый день прибавляется. Его и на поля возим. Он жарче, казалось бы. А много твоего, полупревшего, надо?

— На одну-две грядки для начала – телегу, не меньше. Чтобы слой был толстый, — ответила я, ловя его скепсис. — Свежий – слишком ядреный. Он может корни молодой рассады сжечь, да и сорняков от него тьма. А тот, что полежал месяца три-четыре, в самый раз. Он преть будет ровно и тепло давать долго, не обжигая. Бактерии в нем уже другие, работают на разогрев, а не на горение.

Николай замер. Видно было, как в его голове старый, как мир, практический опыт столкнулся с новой, неожиданно тонкой теорией и проиграл. Молчал секунд десять, переваривая.

— Конский навоз у нас есть, — сказал он наконец, и в его тоне впервые прозвучало не просто согласие, а уважительное любопытство. — Тот, что с осени сложен. Никита складывает его там же, за конюшней. Бери, сколько нужно. Но тащить его тебе... — он посмотрел на мои руки, тонкие и белые, торчащие из грубых рукавов платья.

— Сама я, конечно, не справлюсь, — быстро сказала я. — И Фомичу нельзя. Можно попросить кого-то из людей помочь? На день, полдня.

Он снова замолчал, взвешивая. Видно было, как в его голове сталкиваются практическая польза затеи, затраты на рабочие руки, пусть и зимой, когда они относительно свободны, и общая странность ситуации.

— Ладно, — сказал он наконец. — Степана с мельницы к тебе пришлю. Он и с печью поможет, и навоз притащит. Но, Лизонька... — он сделал шаг ближе, и его голос стал тише, но от этого не менее весомым. — Чтобы не зря. Поняла? Чтобы это была не барская прихоть.

— Это не прихоть, — ответила я, глядя ему прямо в глаза. — Это инвестиция. В раннюю зелень. В рассадку для вашего же огорода. В эксперимент.

Слово «инвестиция», сорвавшееся с языка, явно было ему знакомо, но прозвучало диковато из уст барышни. Он покачал головой, но в уголках его глаз появились лучики морщин: признак скорее удивления, чем смеха.

— Инвестиция... — повторил он медленно. — Говоришь, как мой петербургский банкир-кузен. Ладно уж. Посмотрим, какой урожай твои вложения принесут. Степан будет завтра утром.

Он замолчал, и в наступившей тишине я вдруг почувствовала, как отступает адреналин делового разговора, а на его место приходит ледяная усталость и промозглая сырость, въевшаяся в кости за день в оранжерее. Я невольно поежилась.

— Ты совсем замерзла, Лизонька, — констатировал он, и в его голосе впервые за весь разговор появились нотки не деловой, а простой человеческой озабоченности. — И устала, это видно. Не составишь ли мне компанию за вечерним чаем? В доме теплее.

Я кивнула, не в силах и не желая отказываться от тепла и горячего чая.

— Я на минуту, — сказала я. — Приведу себя в порядок.

В моей комнате на табуретке уже стоял глиняный таз, а рядом кувшин с теплой водой. Видимо, Пелагея успела распорядиться. Но это было не главное.

На кровати, аккуратно разложенные, лежали вещи. Два платья. Одно темно-синее, шерстяное, с высоким воротником и тонкой тесьмой по подолу, добротное, но без излишеств. Другое из темно-зеленого бархата, поношенное на сгибах, но все еще красивое. И сверху – стопка белья: длинные нижние сорочки из тонкого полотна, панталоны, чулки. Все чистое, слегка пахнущее сушеной лавандой.

У меня перехватило дыхание.

Я умылась и поспешила переодеться, выбрав синее шерстяное платье. Ткань была плотной, мягкой, греющей. Оно было простого, но явно не крестьянского фасона и сидело почти в пору.

Когда я спустилась, в столовой уже был накрыт стол бархатной скатертью темно-зеленого цвета. На ней, сверкая полированной медью, стоял массивный самовар. Рядом в строгом порядке выстроились тонкие фарфоровые чашки с позолотой, тарелочки с ломтиками окорока, желтым сыром, солеными груздями и пирожками. В отдельной хрустальной розетке темнело варенье, а в соседней янтарным пятном светился мед.

Николай Сергеевич сидел, откинувшись на спинку стула. Он обернулся на мой шаг, и его взгляд на миг задержался на новом платье, в его глазах мелькнуло что-то вроде удовлетворения.

— Спасибо, — выдохнула я. — Это... неожиданно и очень кстати.

— Пустяки, — отозвался он. — Вещи моей сестры, Анны. Она уехала, а это осталось. Носите на здоровье. Что до белья, то это Пелагея, у нее свой порядок.

Он налил чай, и пар густой струйкой поднялся в воздух.

— А потом, — продолжил он, пододвигая ко мне тарелку с пирожками, — если ваше прошлое так и не напомним о себе... прикажу привезти материю из города. Сошьем что-нибудь новое, приличное. А пока согревайтесь и подкрепляйтесь. Завтра снова в бой, Лизонька?

Глава 14. Под наблюдением (Николай)

На следующее утро после того чая с Лизой у меня в голове все никак не укладывалось. Барышня, пьет чай из тонкой чашки, а говорит про навоз так, будто всю жизнь с лопатой в руках провела. «Полу-перепревший» ... «Бактерии» ... Слова-то какие. У нас в уезде и мужики-то не каждый так скажет. А тут девчонка, глаза как у перепуганной совы, да с такой уверенностью в голосе.

Позавтракал я быстро, газету отложил, не шло сегодня чтение. В кабинете посидел, бумаги перебрал, но мысли все туда же, к оранжерее. Инвестиция, говорит. Ладно уж. Посмотрим, во что твои инвестиции выльются, Лизонька.

Путь к старой оранжерее лежал через застывший сад. Дорожку заметало, но кто-то уже протоптал тропинку: узкую, едва видную. Значит, не сидят сложа руки.

Сама теплица смотрелась со стороны как огромный, заиндевевший хрустальный гробик. Стекла, тусклые и мутные от грязи и наледи, кое-где отражали бледное зимнее солнце слепыми пятнами. Но уже заметны были изменения: на подходах лежали свежие доски, куча песка, прикрытая брезентом. Дело, значит, сдвинулось с мертвой точки.

Дверь в теплицу скрипнула жалобно, когда я ее отодвинул. Внутри пахло на меня целым букетом: сырая, мерзлая земля, старая древесная гниль, едкая пыль от разобранной кладки и еще что-то щелочное, резкое. Картина открылась знатная.

Степан, весь в рыжей пыли, копался в груде разобранных кирпичей. Рядом аккуратной горкой лежали те, что еще годились. Работал он, как всегда: молча, основательно, без лишних движений. Мужик надежный, золотые руки.

А в углу, у одной из стоек... Я сначала и не понял, кто это. Фигура в грязном, заляпанном чем-то переднике, с тряпкой на голове, на коленях перед деревянной рамой. Спина сгорбленная, не барышни осанка точно. Потом разглядел: Лиза.

На руках у нее были старые, дырявые рукавицы, а сама она с каким-то остервенением скребла по старой раме обломком толстого стекла. Пальцы, торчащие из дыр, были красные, облупленные. От стоявшего рядом ведра несло знакомой, едкой вонью: пахло золой, залитой кипятком. Этим дед мой еще рамы от старой краски чистить велел.

Фомич, как древний страж, восседал на своем чурбачке. Рука в чистой повязке лежала на колене, здоровой он тыкал в сторону Степана.

— Левее, левой поддень, — ворчал он хрипло. — Гляди-ка, вон тот кирпич, с трещиной-то во всю толщу. Его только в отвал, больше никуда. Хрупкий.

Степан лишь кивнул, не отрываясь от дела.

Я переступил порог. Тишина, нарушаемая только скрежетом скребка, стуком кирпича да ворчанием Фомича, повисла на секунду гуще.

— Ну что, генералы? — спросил я, окидывая взглядом это царство разрухи и упрямства. — Отвоевываєте пядь за пядью у грязи и ветхости?

Лиза вздрогнула и обернулась. Лицо у нее было вымазано в полосах чего-то темного, на лбу, под тряпкой, выбилась прядь волос, слипшаяся от пота. Она смахнула ее тыльной стороной запястья, оставив новую грязную полосу. Но глаза... глаза горели. Не испугом, а каким-то лихорадочным, упрямым азартом. Как у Шайтана, когда тот выслеживает дичь в самой гуще кустов.

— Потихоньку, Николай Сергеевич, — выдохнула она, голос немного хриплый от пыли. — Печь... вот, разбираем. Степан говорит, кирпича на перекладку хватит. А вот со стеклами...

— Она махнула рукой в сторону своей неоконченной работы, и по лицу ее пробежала тень усталого разочарования. — Это надолго.

Я подошел ближе, к самой куче кирпича, потом к ней. Взгляд сам цеплялся за детали: за грубые, уже не белые, а в ссадинах и краске пальцы, за ведро с мутной, вонючей жидкостью. В груди что-то неприятно кольнуло. Не жалость даже. А какое-то раздраженное недоумение. Как если бы дорогую тонкую сталь стали рубить тупым топором: портили и вещь, и работу.

— Этим, — сказал я отрывисто, кивнув в сторону окна, за которым мелькали в морозной дымке фигуры дворовых, — этим займутся другие.

Она подняла на меня удивленные глаза.

— У меня есть два крепких мужика, — продолжал я, уже глядя прямо на нее, чтобы не было сомнений. — Андрей да Федот. Зимой им заняться нечем, кроме дров поколоть да снег почистить. С завтрашнего утра будут здесь. Они и будут драить, скрести и отмывать. До блеска.

— Но я... — начала она, и в голосе послышалась знакомая уже мне упрямая нота.

— Твоя работа, Лизонька, — перебил я, и голос сам собой стал тверже, начальственным, каким говорил с нерадивыми работниками, — твоя работа не стеклом скрести до крови. Твоя задача показать, как надо, да проследить, чтобы стекло не перетерли в пыль, а кирпич клали ровно. А после заниматься тем, ради чего, собственно, вся эта кутерьма и затеяна. Семенами. Рассадой. Этой твоей... наукой. Грязную работу я тебе как хозяин запрещаю. Категорически. Понятно?

Я не спрашивал. Объяснял. Как объяснял бы Анисиму Ивановичу, почему нельзя сырое зерно в общий амбар скидывать. Это был не приказ барина служанке. Это было хозяйское распоряжение: ценный ресурс надо использовать по назначению, а не гробить на черновой работе.

Она замерла, сжав грязные пальцы в кулаки. На лице боролись обида, досада и... понимание. Потом губы ее дрогнули, она опустила взгляд и просто кивнула.

— Понятно.

— Вот и хорошо, — бросил я, уже отворачиваясь. С этим было покончено. Повернулся к Фомичу. — Старик, ты за ними присмотри. Чтоб не безобразничали, работу спустя рукава не делали. И чтобы барышню по пустякам не отвлекали. Ты, — кивнул Степану, — ко мне вечером, доложишь по кирпичу. Сколько надо нового, сколько извести, песка.

Он кивнул, не поднимая головы: «Слушаюсь, барин».

Я еще раз окинул взглядом эту пещеру, где пахло потом, пылью и упрямой надеждой. Лизонька стояла, опустив голову, но спина у нее была прямая. Не сломленная. Просто принявшая правила игры.

Развернулся и вышел. Дверь захлопнулась за мной, отсекая запах химии и пыли. Я глотнул чистого, колючего морозного воздуха. В голове стучало: «Инвестиция... Инвестиция...». Ну что ж, Лизонька. Ты просила шанс, я дал. Ты просила помощь, я даю. Теперь покажи, на что твоя наука годна. А я посмотрю. Со стороны. Как хозяин.

И почему-то был уверен, что это будет интересно.

Глава 15. Пахучий фундамент

(Лиза)

После вчерашнего разноса от барина я, как и было велено, не полезла со скребком на стекла. Барин был прав: работа эта для тех, чьи руки привыкли к топору и смоле, а не к пробиркам и семенным картотекам, пусть даже и в прошлой жизни.

Я пришла в теплицу в своем старом, сером шерстяном платье: первом, что мне дали в усадьбе. Для барских покоев оно было грубым, а для работы самое оно. Чистое, но не жалко

запачкать. Просто стоять и смотреть, как другие вкалывают, я не могла по характеру, а в этом можно было и землю потрогать, и к грядкам присесть, не боясь испортить ткань.

У дверей уже толпились. Фомич, как серый каменный идол, восседал на своем чурбачке. Его рука, перебинтованная свежим чистым полотном, покоилась на колене.

С утра он, как и положено, явился на перевязку. Я своими глазами видела, как Анютка, с серьезным видом, ошпаривала кипятком тряпицу и аккуратно обрабатывала заживающую рану, шепча под нос мой же наказ: «Чтоб красноты не было и жара».

Вид у Фомича был почти торжественный. Эта забота, казалось, не только руку лечила, но и дух поднимала. Он сидел теперь прямее, и в его прищуренном взгляде читалось не ворчливое страдание, а деловое нетерпение. Держался, старик. И, глядя на него, я чувствовала теплую волну удовлетворения: не отдал богу душу, как тот Митька-плотник. Значит, все сделала правильно.

Здоровой же рукой он указывал на двух новых мужиков: Андрея и Федота. Те стояли, переминаясь с ноги на ногу, с оглядкой на печь и грязные стекла.

— Вон, барышня, — сипло произнес Фомич, кивнув в их сторону. — Барин прислал. Стекла драить, краску сводить. Я за ними буду глаз да глаз, как ты и говорила, чтоб не ленились да стекол не перебили. А уж состав для замазки, с волосом-то... я им сам замешаю, они только по месту раскидывать будут.

Андрей и Федот поклонились мне в пояс. Лица у них были простые, работающие, с любопытством и легкой опаской: им, видно, объяснили, что работают они под началом «той самой находки-барышни».

— Спасибо, — кивнула я им. — Фомич вам все покажет. Главное — тщательно. Старую краску и замазку дочиста, щели потом новые заделаем. От этого зависит, тепло ли у нас тут будет.

Они засуетились, принялись за ведра с золой и кипятком, за скребки. Фомич, ворча, поплелся за ними, контролировать каждый шаг. Вид у него был важный, будто генерал перед смотром. Зная его характер, я была уверена: работа закипит и будет сделана на совесть. Мне оставалось лишь изредка подходить, проверять, но основную задачу — очистку и подготовку рам — я могла с чистой совестью с себя снять.

Повернулась к Степану. Он уже закончил осматривать свежую кладку печи и вытер рукавом пот со лба.

— На день оставить нужно, барышня, — сказал он своим лаконичным манером. — Чтобы раствор схватился как следует. Завтра уже можно будет пробовать топку.

Я кивнула, мысленно сверяясь со своим планом. Если завтра топка, то грядки к этому времени уже должны быть готовы принять тепло. А для этого их нужно как следует «заправить».

— Значит, сегодня самое время для другого, — отозвалась я. — Пора за навозом.

— Пойдемте, — Степан молча кивнул и повел меня на конюшню.

Там, за дощатым забором, возвышались несколько опрятных, утрамбованных куч. Они и впрямь не выглядели беспорядочной свалкой: чувствовалась хозяйская рука. Воздух здесь был густой, терпкий, с кисловатой нотой перегноя. Степан, как и я, оглядел пространство, но не стал ничего выбирать. Он был человеком точным и знал границы своих полномочий.

— Погодите, барышня. Конюха позову. Он укажет, — коротко бросил он и направился к двери конюшни. Именно в этот момент из-за угла вышел мужик в замасленном тулупе.

— Никита, — коротко кивнул ему Степан. — Барышне навоз показать надо, для теплицы. Барин велел помочь.

Конюх, услышав свое имя, на мгновение замер и на его скуластом лице промелькнуло что-то быстрое, неуловимое: не то досада, не то настороженность. Но через секунду он уже приветливо улыбался, показывая редкие зубы.

— Барышня! Степан! Навозом запасаетесь?

— Да, — подтвердила я, стараясь, чтобы голос звучал так же нейтрально и деловито. — Для грядок. Чтобы землю прогреть. Покажите, пожалуйста, где у вас самая старая куча лежит.

— А, понимаю, понимаю! — засуетился Никита, и его глаза скользнули по вилам в руках у Степана. — Пойдемте, покажу.

Он повел нас вдоль забора, остановившись у одной из самых больших куч, с потрескавшейся, почти черной коркой на поверхности.

— Вот эта самая что ни на есть годная. Еще покойный барин, отец нынешнего, велел так складывать. С осени лежит, не тронута.

— Отлично, — сказала я, подходя ближе и принохиваясь. Именно такой, хорошо перепревший, «холодный» навоз и был нужен. Он не «горит», а отдает тепло ровно и долго.

— Можно с нее?

— Можно, можно, берите на здоровье, — закивал Никита. — Лошадкам-то только на пользу, место освободить.

Степан, не говоря ни слова, ткнул вилами в кучу, проверяя ее консистенцию, и кивнул мне: годится. Мы принялись за работу. Степан ловко поддевал пласты темно-коричневой, почти черной массы.

— Я подержу ведро, — предложила я, сделав шаг к одному из двух пузатых деревянных ушатов, которые он, предусмотрительно, притащил вместе с коромыслом.

Степан резко остановился, воткнул вилы в кучу и выпрямился. На его обычно невозмутимом лице читалось легкое, но твердое неодобрение.

— Не надо, барышня. Сам справлюсь. Не бабское это дело навоз в ведра грузить. Да и... — он чуть косил глаза в сторону конюшни, где в полумраке мелькала фигура Никиты, — не по чину. Люди увидят, засмеют. Скажут, у Степана и сил-то своих не хватает, барышню на подхвате держит.

Он был прав. В его мире мое присутствие здесь уже было на грани. А уж физически помогать — полностью перейти эту черту. Я покраснела, почувствовав досаду и в то же время понимание.

— Вы правы, Степан. Простите.

— Ничего, — буркнул он, уже снова взявшись за вилы. — Лучше в сторонке постоит. Или там, кобылу гнедую посмотрите, коли интересно.

Он быстро наполнил оба ведра ровно до краев, ловко зацепил их за крюки коромысла и взвалил себе на плечи. Даже не дрогнул под тяжестью и мерной, размашистой походкой двинулся в сторону теплицы, оставляя за собой на утоптанном снегу четкие следы.

Я осталась одна у навозной кучи, держа свою лопату: теперь уж точно только для вида. Вспомнив совет Степана — кобылу гнедую посмотреть, коли интересно — я невольно перевела взгляд на открытые двери конюшни.

Послышалось фырканье, стук копыт, голос Никиты, уже изнутри: «Норд, потерпи, красавец, сейчас...» Значит, это стойло вороново коня барина, чью кличку я слышала накануне.

Я невольно сделала несколько шагов к открытым дверям. Оттуда тянуло теплом, паром и густым, сладковатым запахом лошадей, сена и навоза. В глубине, в полосах света из дверей и маленьких заиндевших окон, мелькали тени.

Никита, стоя у стойла Норда, зачерпнул полную меру из большого мешка и аккуратно, с каким-то даже подобострастием, высыпал ее в ясли. Конь, величественный и спокойный, принял угощение как должное.

Потом конюх, с той же мерой в руке, перешел к следующему стойлу, что было в тени, подальше от входа. Чтобы разглядеть, пришлось прищуриться. Лошадь, стоявшая там, была крупной, темной масти: гнедой, кажется. Но силуэт ее казался каким-то обмякшим, усталым. Рабочая, наврное.

А Никита... его движение изменилось. Он уже не зачерпывал полную меру. Быстро оглянувшись, но не заметив меня, он насыпал зерно на глаз, сэкономив добрую четверть. Порция получилась заметно скромнее. Он высыпал ее и, коротко похлопав лошадь по шее, двинулся дальше, к другим стойлам.

Я отступила назад, в тень за дверным косяком. Аналитический холодок уже бежал по спине. Мой мозг, заточенный на расчеты, прикидывал: вес, нагрузка, энергетическая ценность овса... Да, этой порции могло не хватать. Особенно зимой. Особенно если это система.

Никита, закончив обход, вышел из конюшни, потирая руки. Увидев, что я стою не у навозной кучи, а здесь, снова напрягся.

— Все... в порядке, барышня? — спросил он, и в его голосе прозвучала та самая фальшивая бодрость.

— Все, — ответила я тихо.

Потом, как бы невзначай, сделала шаг внутрь, к тому самому стойлу. Теперь, с близкого расстояния, я могла разглядеть лучше. Кобыла повернула ко мне голову. В ее темных глазах читалась покорная усталость.

Я провела рукой по ее шее, под редковатой гривой. Шерсть была не такой лоснящейся и густой, как у Норда. А когда та потянулась к моей руке, бочком прижавшись к перегородке, под пальцами моей второй ладони прощупывались ребра.

— Красивая, — сказала я, больше для себя. Потом обернулась к Никите. — А чем их, Никита, кормите? Овсом с ячменем? И сколько в день на голову выходит? Хочу прикинуть, какой навоз по качеству будет. От рациона ведь многое зависит.

Вопрос прозвучал абсолютно нейтрально, деловито. Но я видела, как с его лица сбегала последняя тень притворного радушия. Он побледнел, глаза забегали, ища точку для фиксации, но не находя ее.

— Да как... как положено, — забормотал он, отводя взгляд. — По норме. Овса мерка, сена вволю... Барин не обижает. Все как у людей.

— А всем поровну полагается? — спросила я, все так же глядя на него. Мои пальцы все еще гладили теплую шерсть лошади. — Или рабочим меньше, они ж не скачут, а тянут? По логике, им, может, даже больше нужно, силы восполнять.

Тишина повисла густая, тяжелая. Было слышно, как жует Норд. Никита стоял, будто вкопанный. По его лицу было видно, как внутри все переворачивается. Он понял. Понял, что я не просто спрашиваю из праздного любопытства. Я вижу. Я сравниваю. Я, черт возьми, еще и логику применяю.

Он не ответил. Просто резко, почти грубо, кивнул, повернулся и скрылся в глубине конюшни, делая вид, что ему срочно нужно поправить сбрую и заняться сеном. Я медленно отпустила лошадь, вернулась к Степану, который уже опять нагрузил полные ведра.

Степан понес наш пахучий груз обратно к теплице. Я шла сзади, мысленно вернувшись к сцене в конюшне. Я не обвинила его, Никиту. Не пригрозила. Я просто задала два вопроса. Но эти вопросы, прозвучавшие из уст «барышни-агронома», были для него страшнее любого доноса. Он теперь знал, что я знаю. И это знание висело между нами невидимой, колючей проволокой. Фундамент для будущего конфликта был заложен. И пах он отнюдь не свежим сеном, а едкой вонью человеческой жадности.

Глава 16. Тяжелый груз

Мы шли обратно в тягостном молчании. Степан шел впереди, его плечи под тяжестью навоза были напряжены. Коромысло поскрипывало в такт шагам. Я брела следом, утопая в его глубоких следах, и мои мысли крутились, как снежинки в стеклянном шаре.

Никита. Его лицо, внезапно побелевшее, глаза, заматававшиеся по сторонам. Его фальшивая улыбка.

«Барин не обижает. Все как у людей».

Что делать-то, в самом деле? Идти к Николаю Сергеевичу? Вот так, с порога: «Ваш конюх ворует овес»? Смахивало на самый дешевый донос. И кто я такая, чтобы жаловаться? Находка. Приживалка с дырой в памяти.

К тому же, я видела всего один раз. Один раз – не система. Хотя... хватило и одного. Жадный, торопливый жест: недосыпать полную меру. Куда он девал остальное? Спрятал? Отсыпал в свой тайник? Продать или пропить, скорее всего.

В усадьбе явно не было нужды экономить на кормах: я же видела амбар, ломящийся от зерна. Пелагея только вчера хвасталась за столом: «Хлебушко-то наш, батюшкин, с нашей же муки, с нашей ржи!» Нет, здесь было не «не хватает», а «уворовать бы лишнюю горсть». Мелочно, гадко.

И вот из-за этой гадкой мелочи страдала лошадь. Та самая усталая гнедая кобыла. Ее проступившие ребра под шерстью, ее покорный взгляд... Зимой, в холоде, ей нужно больше, а не меньше. Николай Сергеевич, судя по всему, человек строгий, но справедливый: он бы никогда не стал морить голодом рабочих лошадей.

Вот в чем и был подвох. Барин видел каждый день своего Норда: вороного красавца, ухоженного, с лоснящейся шкурой. Конь был полон сил, глаз горел. Глядя на него, любой хозяин успокаивался: «Значит, в конюшне все в порядке. Никита дело знает». И доверял. Доверял человеку, который воровал не бешено, не до скандала, а по мелочи, по чуть-чуть, на самой грани.

Не доводил лошадей до истощения, до падежа, нет, это было бы слишком заметно. Он просто отщипывал от их пайка по крохам, день за днем, зная, что барин, поглощенный хозяйством, не станет лично замерять овес в яслях у каждой рабочей лошади. Пока Норд в порядке, остальных не тронут. А гнедая кобыла? Она просто «не первой свежести», старая, много работает, ну и выглядит соответственно. Удобная, серая, незаметная жертва.

Я терялась в догадках: как поступить. Меня и так-то здесь не все с распростертыми объятиями встретили. Пелагея косо смотрит, Анюта побаивается, мужики за спиной перешептываются. Стоит только слово сказать против своего же, дворового и все. Стану изгоем окончательно. Врага наживу. А Никита не дурак, он найдет, как отомстить. Подбросит что в теплицу, слух пустит, что я сама что-то стащила. Его слово против моего? Кому поверят?

Поговорить с ним? Самоубийство. Он уже загнан в угол. Может и накричать, и толкнуть, а потом заявить, что я сама набросилась, барышня-полоумная. Нет, это не вариант.

Значит молчать? Смотреть сквозь пальцы, как он обкрадывает того, кто дал мне кров? Это было похоже на предательство. Николай доверяет мне, вкладывается в мою авантюру с теплицей, а я знаю, что у него под боком воришка, и молчу. Если правда всплывет позже, а выяснится, что я знала... Меня выставят за дверь, или того хуже.

Голова раскалывалась. Единственный разумный выход, который маячил где-то в тумане, собрать доказательства. Неоспоримые. И сделать так, чтобы правда вскрылась сама, без моего прямого участия. Чтобы я была не доносчиком, а... свидетелем. Или поговорить с кем-то, чье слово здесь что-то значит. Не с барином, а, может, с тем же Анисимом Ивановичем? Или с Пелагеей? Хотя она и сама на меня косится.

«Не сейчас, — решила я про себя, глядя на широкую спину Степана. — Сейчас не время. Нужно укрепиться. Нужно, чтобы теплица дала результат. Чтобы мое слово стало весомым. Чтобы меня слушали не как диковинку, а как специалиста. Тогда... тогда можно будет и о других вещах заговорить».

Мы дотасились до теплицы. Степан с глухим стуком поставил ведра, распрямился, костяшками протер поясницу.

— Куда сыпать, барышня?

— Вот сюда, в этот угол, — показала я на расчищенное место у стены. — Чтобы созревал. Спасибо, Степан.

Он кивнул и принялся ловко вываливать темную, пахучую массу. Я, тем временем, обошла теплицу, оценивая прогресс.

Дело сдвинулось. Окна на южной стене уже были вычищены до скрипа. Стекла, хоть и старые, но целые, теперь пропускали гораздо больше скупого зимнего света. Андрей и Федот, красные от усердия, драили рамы на противоположной стороне. Фомич сидел на своем чурбаке и здоровой рукой тыкал палкой в очередную щель:

— Глубже замазывай, Федот! Видишь, дует? Щель, как пасть! Еще раз пройись!

Печь, сложенная заново, стояла, как новенькая. Степан постучал по кирпичу: звук был ровный, без пустот.

— Завтра, с утра, можно пробовать растопить, — сказал он. — Раствор схватился.

— Замечательно! Фомич, у вас тут случайно... термометра не завалилось? Чтобы температуру мерить?

Он почесал затылок, подумал.

— Кажись, был... у покойного барина, отца нынешнего. В оранжерее же и висел, для забавы. Дубовая такая штуковина, со стрелкой. Куда делся, не ведаю.

Мы с ним порылись в углу, среди старого хлама. И – о чудо! – под грузом сгнившей мешковины я нащупала твердый деревянный корпус. Вытащила. Термометр. Старинный, в тяжелой дубовой оправе, со шкалой и тонкой ртутной колбой внутри. Я аккуратно протерла стекло подолом. Стрелка показывала чуть выше нуля. В теплице действительно было теплее, чем на улице.

— Вот! — воскликнула я. — Степан, помогите прибить. Сюда, на северную стену, под самую крышу, в тени. Чтобы показывал точно, без солнца.

Степан без лишних слов приладил прибор на гвоздь. Теперь у нас был главный свидетель: точная температура.

Энергия, отступившая было после истории с Никитой, вернулась с новой силой. Я взяла лопату.

— Теперь грядку. Первую, пробную. Вот тут, у южной стены, где больше всего света.

Я разметила колышками и веревкой узкую, длинную полосу земли. Степан, видя мой запал, лишь вздохнул и взял свою лопату.

— Покажете, какую яму копать?

— Не яму, а траншею, — поправила я. — И не просто копать, а делать «пирог». Слушайте. — Сначала на дно кладем дренаж.

Степан медленно поднял на меня глаза, в которых читалось привычное уже недоумение перед моими «заморскими» словечками.

— То есть, — поспешила я добавить, — подушку, чтоб лишняя вода уходила. Битый кирпич, ветки, хворост.

Теперь Степан кивнул, понимая. Мы выгребли мерзлую землю на штык лопаты. Степан сходил к поленнице, принес охапку хвороста и горсть битого кирпича от разборки печи. Уложили на дно.

— Теперь – наш главный «мотор», — объявила я, указывая на принесенный навоз. — Слой потолще, сантиметров тридцать. Он будет преть и греть землю сверху, как печка.

Степан, кряхтя, стал укладывать темную, почти черную массу. Запах стоял знатный, густой, земляной.

— А поверх, — продолжала я, пока он работал, — пойдет наша смесь. Земля садовая, перегной, песок. Чтобы корням мягко и питательно было.

Готовой смеси у нас не было. Пришлось импровизировать. Я послала Андрея в сарай за мешком относительно рыхлой земли, что хранилась там с осени, Федот сходил в подвал за золой и песком. Фомич, не вставая с места, руководил:

— Песок-то просей, дурень! Камни там! Землю комьями не сыпь, разомни!

Получился примитивный, но рабочий конвейер. К вечеру первая экспериментальная грядка была готова. Ровная, аккуратная, чуть возвышающаяся над уровнем пола. Я проверила ее «горизонт» с помощью простейшего уровня: длинной доски и чашки с водой, которую Степан смастерил за пять минут по моим указаниям. Все было ровно.

— И последний штрих, — сказала я, ощущая приятную усталость во всем теле. — Полив. Чтобы процесс запустить. Теплой водой.

Анюта, заглянувшая посмотреть на наше «безумие», сбегала на кухню и притащила большой ковш с теплой, почти горячей водой. Я аккуратно пролила всю грядку. Земля с глухим урчанием впитала влагу, навозный слой словно вздохнул, выпустив струйку пара в холодный воздух.

Я выпрямилась, смахнула со лба прядь волос, выбившуюся из-под платка. Руки ныли, спина затекла, но на душе было светло и спокойно. Вот она, реальная работа. Осязаемый результат. Завтра, если печь растопим, здесь будет уже по-настоящему тепло. А послезавтра... послезавтра можно посеять самый первый, самый нетерпеливый лук на перо. И укроп. И петрушку. Быструю, благодарную зелень, которая не заставит себя долго ждать.

«Вот тогда и посмотрим, — подумала я, глядя на свою грядку с нежностью матери, — что может наша печка. И что могу я».

Но стоило мне выйти из теплицы, как это ощущение победы тут же накрыла холодная волна реальности. День клонился к вечеру, и мороз заметно усилился. Воздух стал колючим, сухим, он обжигал щеки и заставлял втягивать голову в плечи.

И вместе с холодом вернулась тревога. Тяжелая, липкая, как тот навоз. Никита. Его побелевшие губы, его испуганные глаза.

«И ведь я так и не придумала, что с ним делать... — пронеслось в голове. — Сидит, как нарыв, и ждет, когда прорвет».

Я шла к дому, кутаясь в платок и тулуп. В окнах людской уже зажегся желтый, уютный огонек. Из конюшни доносилось тихое, усталое ржание. Наверное, та самая гнедая кобыла.

Остановилась, вдруг ясно представив себе картину: темное стойло, голодный взгляд, холод... и Никита, который где-то припрятывает украденный овес.

Нет. Так нельзя. Молчать – значит быть соучастницей. Но как сделать все правильно? Как не навредить ни себе, ни делу, ни... той лошади?

Ответа у меня не было. Только холодный ветер, пробирающий под грубую шерсть платья, и тяжелый груз знания, который теперь приходилось нести одной.

Глава 17. Холодный след и первое тепло

(Николай Каменев)

Утро встретило меня не свежестью, а тяжелой мыслью. В кабинете уже сидел Анисим Иванович, раскладывая бумаги и щелкая костяшками счетов.

— Мельница, барин, уже работает. Тарасыч подшипник сменил, сегодня уже на пробу крутит. Соль из города привезли, по два пуда на двор. Кирпич для овина подсчитали...

Я слушал вполуха, кивая. Дела шли, хозяйство крутилось. А в голове крутилась она. Лизонька. Вчерашняя картина: она на коленях у рамы, в грязи, с красными от холода руками. И не испуганная, нет. Упрямая. Сжавшая губы и скребущая эту проклятую краску так, будто от этого зависела судьба мира.

— Барин? — Анисим Иванович кашлянул, привлекая внимание. — Вы слушаете?

— Слушаю, слушаю, — махнул я рукой. — Соль, кирпич... Все ясно. Распорядись.

Он покосился на меня, потом на замерзшее окно.

— А насчет... теплицы, барин? Люди говорят, барышня там хозяйничает вовсю. Навоз таскают, печь новую сложили.

— Пусть хозяйничает, — отрезал я. — И скажи там, чтобы ей не мешали. И... кстати. Выдели ей немного из хозяйственных. На семена, на прочую мелочь. Пусть напишет список. Небогато, но чтобы хватило.

Анисим Иванович поднял брови, но спорить не стал, только в книжечке что-то пометил. Инвестиция. Чертовски странная инвестиция. Но я уже втянулся. Мне стало интересно не только как хозяину. А просто... интересно. Что там у нее в голове? Откуда эта упрямая жилка? Это чувство, новое и непривычное, слегка настораживало. Словно я подошел слишком близко к краю оврага, где земля может и осыпаться.

Нужно было вырваться. Простора, тишины. Я отдал последние распоряжения, приказал, чтобы Норда и Шайтана готовили, и через полчаса уже выезжал со двора.

Цель была формальная: к Прохору. Проверить капканы, поговорить о дичи. А по правде — мозги проветрить и узнать, не ползут ли новые слухи.

Лес принял как родной. Морозный воздух бил в лицо, снег скрипел. Шайтан, радостный, носился между деревьями, поднимая снежную пыль. Вот она, простота. След, выстрел, добыча. Никаких загадок.

Прохор, как всегда, возился у избушки. Увидел меня, кивнул.

— Нежданный гость, барин. Капканы вон там, в овражке, два пустых, один с лисой. Шкура ничего, зимняя.

— Хорошо, — сказал я, спешившись. Помог ему снять тушку, по привычке. — А слухи? — спросил я прямо, вытирая руки снегом.

Прохор посмотрел на меня своими умными, узкими глазами.

— Слухи? Да те же. «Каменев принцессу отыскал, в хрустальном дворце поселил». Болтают, но беззлобно. Нового ничего. Никто не ищет, не спрашивает. Тишина. Да только наша тишина — она уездная. Пока до губернии доползет, коли она оттуда, а не из наших краев... Там свои ветры гуляют, барин. Наши слухи им не указ.

— То есть как с луны свалилась? — усмехнулся я без веселья.

— Судя по всему, так и есть, — пожал плечами старик. — Следов нет. Ни откуда, никуда. Все снегом замело.

Это и облегчало, и пугало одновременно. Никакой ясности. Одна сплошная белая пелена.

На обратном пути я, сам не заметив как, свернул к тому самому оврагу. Остановил Норда на краю. Снег, и правда, за ночь заметал все. Яма, где Шайтан нашел Лизоньку, была лишь мягким углублением под сугробом. Ни следов, ни обрывков тряпья. Ничего.

Я стоял и смотрел, пытаюсь понять логику. Откуда она пришла? Со стороны леса? С дороги? Белое поле не давало ответов. Беспомощность сковала сильнее мороза. Следов не найти. Оставалось только ждать. Ждать, что откроет она сама. Или ее память.

С тяжелым вздохом развернул коня. Пора домой.

Уже на подъезде к усадьбе нагнал телегу, груженную мешками: мука с мельницы. Лошадь, обычная рабочая кобыла, шла как-то вяло, медленно тянула груз. «Зима, что ли, называется?» — мелькнула мысль где-то на задворках сознания. Но взгляд уже выхватил другую картину.

Со двора мне навстречу бежала фигурка в темном, поношенном тулупчике. Он был нараспашку, полы разлетались, из-под них мелькало серое платье, а на голове шерстяной платок. Казалось, она накинула первое, что попало под руку, и выскочила в пургу, не застегив-

ваясь. Лиза. Она что-то кричала, размахивала рукой. И на лице ее было такое сияние, такая неподдельная радость, что у меня сердце неожиданно екнуло.

Я пришпорил Норда.

— Николай Сергеевич! — она почти задыхалась от бега и восторга, подбежав к самому стремени. Глаза горели, щеки пылали румянцем. — Печь! Мы растопили! В теплице... в теплице уже плюс восемь!

Она схватила Норда за узду, будто боялась, что я уеду, не увидев.

— Идемте, вы должны посмотреть! Должны!

Я, ошеломленный, сполз с седла. Она тут же ухватила меня за рукав и потащила к теплице, забыв обо всех приличиях. Шайтан, виляя хвостом, бежал рядом.

Дверь скрипнула. И на меня пахнуло.

Не холодом. Не сыростью. А влажным, густым, земляным теплом. Контраст с уличным морозом был ошеломляющим. Воздух внутри был другим: живым, пахнущим преющим навозом, мокрым деревом и... надеждой.

— Смотрите! — Лиза провела рукой, словно демонстрируя фокус. — Термометр. Видите? Восемь градусов! А на улице минус пятнадцать!

Она подтащила меня к первой грядке, длинной и аккуратной. Земля на ней была темной, рыхлой.

— Я уже посеяла! — она говорила быстро, счастливо, выпаливая слова. — Укроп, петрушку, лук на перо. Самые быстрые. Через неделю, максимум две, получим урожай. А эта грядка... она «теплая», понимаете? Навоз внизу работает как печка! И когда печь истопят как следует, здесь будет все двадцать!

Она сияла. Не как барышня, добившаяся успеха в вышиванье. А как мастер, совершивший прорыв. В ее глазах не было страха, не было расчета. Был чистый восторг и профессиональная гордость. И в этот момент она была... невероятно красива. Прямо ягодка какая-то, вся алая от мороза и счастья, глаза светятся. Красивая. И чертовски умная.

Я смотрел на нее и не мог сдержать улыбки. Первая реальная победа. Наш «пакт» начал давать плоды. Точнее, пока только обещание плодов. Но это было уже что-то. Осязаемое.

И вдруг она замолчала. Сияние в глазах померкло, сменилось тенью. Она опустила взгляд, губы сжались.

— Что-то не так? — спросил я.

— Нет... ничего, — она потупилась, провела рукой по грубой ткани передника. — Просто... потом. Не сейчас.

Это «потом» прозвучало тревожно. Но сейчас было не время. Я заметил, как она слегка дрожит: от холода ли, все же пробивающегося сквозь тонкие стены, или от бури эмоций.

— Довольно на сегодня, Лизонька, — сказал я, и голос сам собой стал строгим. — Вижу, дело движется. Молодец. А теперь: марш в дом. Переоденься, отогрейся как следует. Сегодня к ужину будет жаркое из тетерева. Лично мною добытого. Так что не опаздывай.

Она кивнула, еще раз бросив взгляд на свою грядку, словно прощаясь с ребенком, и послушно направилась к выходу.

Я вышел следом, и меня снова окутал колючий, пронизывающий холод. Мысль о вялой лошади из телеги мелькнула и растворилась, задавленная более приятными образами: теплого кабинета, предстоящего ужина и странной, но такой талантливой девушки, которая начинала приносить реальную пользу.

Вечером в столовой пахло жарким мясом, душистым хлебом и воском свечей. Лиза вошла в том самом темно-синем платье моей сестры. Сидело оно на ней хорошо, подчеркивая хрупкость стана и бледность кожи, которую теперь оттеняли лишь легкие розовые следы от мороза на скулах. Выглядела она уже не найденышем, а... гостьей. Почти своей.

Пелагея, расставляя тарелки, покосилась на нее без привычной подозрительности, даже кивнула одобрительно. Прогресс.

— Ну что, агроном наш, — начал я, наливая ей немного легкого вина. — Планы на ближайшую неделю? Укропом все ограничится?

— О, нет! — глаза ее снова загорелись тем самым деловым огоньком. — Как только температура стабильно поднимется, начну готовить рассаду: огурцы, помидоры... то есть, томаты, — поправила она, поймав мой взгляд. — Для весенней высадки в огород.

Она сделала паузу, и в ее взгляде появилась та самая, знакомая мне уже смесь дерзости и вызова.

— Но самое главное — это клубника. Усы ожили, я их уже обработала. Если все пойдет по плану и тепло продержится... вы свое новогоднее чудо получите. Ведь на этом мы и договорились, правда?

Она снова перевела дух, как будто сбросив камень с души, и продолжила уже более буднично:

— Ваш огород, кстати, я посмотрела. Место хорошее, но почву нужно готовить с осени, вносить...

Она говорила увлеченно, жестикулируя. Я слушал, откинувшись на спинку стула, и ловил себя на мысли, что мне... приятно. Приятно это ее рвение, ее знания. В доме стало как-то живее. Не тихо-скучно, а по-деловому оживленно.

Все было мирно. Спокойно. Казалось, жизнь налаживается, обретая новый, странный, но устойчивый ритм.

Ужин подошел к концу. Пелагея, довольная, что не придется лишний час жечь свечи, быстро и ловко собрала со стола. Мы с Лизой ненадолго задержались у камина: она тихо рассказывала о планах на теплицу, я слушал, кивая. Но видно было, что она устала от дневной суеты, да и я, скорее от мыслей, которые так и не удалось до конца разогнать скачкой.

— Завтра, — сказал я на прощание. — Завтра все обсудим подробно.

Она кивнула и ушла к себе. Я еще немного посидел в кабинете, пробежал глазами счета, но мысли упрямо возвращались к теплоте пятну света в зимней тьме: к оранжерее. К той упрямой девчонке, которая умела говорить о навозе как о стратегическом ресурсе. Улыбнулся. Инвестиция...

В усадьбе рано ложились спать. Экономил свет, да и дел с рассветом невпроворот. Скоро и я поднялся в спальню. Дом затих, нарушаемый лишь потрескиванием бревен в стенах да редким скрипом половицы. Я уже начал проваливаться в сон, тяжелый после дня, полного дела, как вдруг...

Стук в дверь. Нет, не стук — настойчивое, тревожное поскребывание. Потом голос Пелагеи, приглушенный, но резкий от напряжения:

— Барин! Николай Сергеевич, проснитесь! Беда!

Я мгновенно сел на кровати, сердце глухо стукнуло где-то в горле. Накинул халат, босиком подошел к двери, распахнул.

На пороге стояла Пелагея, в накинутом на плечи платке, со свечой в дрожащей руке. Лицо ее было серым от тревоги. И за ее спиной, пряча глаза, ежась от холода и страха, молодой овчар Игнат. Он смотрел на меня взглядом загнанного зверька, и в нем читалась новость, от которой кровь стынет в жилах, еще до того как он раскроет рот.

Глава 18. Лютый мороз и спасение ягнят

(Лиза)

Так сегодня хорошо. Очень даже хорошо. До «зашибись» рукой подать.

Плюс восемь в теплице — это был не просто показатель на дубовом термометре. Это был мой личный фейерверк, запущенный из ведра горячей воды, вонючего навоза и упрямства.

Николай Сергеевич даже улыбнулся. Или это мне показалось? Нет, кажется, уголки губ дрогнули. Одобрительно.

Я ужинала с ним за одним столом, говорила о планах как равная, и Пелагея не посмотрела на меня как обычно: с укоризной. Прогресс, как говорили в моей прошлой жизни. Еще бы не прогресс: от комка грязных тряпок в овраге до агронома при барском столе.

Вот так, довольная собой, я и поднялась в свою комнату. Усталость была приятной, крестьянской: ныла спина от наклонов, пальцы пахли землей и мылом. Я зажгла лампу, села на край кровати и почувствовала, как накатывает эйфория. Получилось. Не все еще, но начало положено.

В голове уже строились планы, как перенести сюда из моего мира систему капельного полива, благо, глиняные горшки и шерстяные фитили никто не отменял, как подобрать культуры для максимальной отдачи... Мысли прыгали, как блохи на гребешке, одна ярче другой.

Правда, тут же, как холодный душ, всплыла мысль о Никите и его гневной кобыле. Эйфорию как рукой сняло. Вот он, мой талант: одним махом и победить, и нажить себе проблему. Ягодка, блин. Сладкая снаружи, а внутри косточка тревоги. Но нет, сегодня об этом не думать. Сегодня только плюс восемь градусов и обещание зелени.

Я погасила свет, укуталась в тяжелое одеяло. Сон, однако, не шел.

«Завтра, — мысленно пообещала я себе, зарываясь с головой в подушку. — Завтра подумаю. Сейчас спать».

Сон пришел тяжелый, прерывистый. Мне снилось, будто я бегу по заснеженному полю за ускользящим теплом, а под ногами вместо снега – зерно, которое кто-то рассыпает, и я не могу его собрать.

Я проснулась от толчка. Не от крика, а от гула. От низкого, тревожного гула, которым вдруг наполнился спящий дом. Глухой топот по лестнице, приглушенные, но резкие голоса внизу, хлопнувшая где-то дверь.

Сердце застучало в висках. Я мгновенно села, прислушиваясь. Была глубокая ночь. Окно чернело, даже отраженного лунного света не было. Что-то случилось.

Инстинкт самосохранения, отточенный за эти недели, кричал: «Сиди! Не лезь! Твое дело – тихость и скромность». Но другой, более сильный инстинкт толкал к двери. Не знать было хуже.

Накинула на плечи шаль и, не зажигая света, босиком выскользнула в коридор. Пол ледяной, мурашки побежали по ногам.

Внизу, в прихожей стояла кучка людей. Желтый свет керосиновой лампы выхватывал из мрака озабоченные, перекошенные тревогой лица.

Николай Сергеевич, уже в сапогах и накинутом на рубаху тулупе, слушал, склонив голову, какого-то парнишку. Тот, совсем юный, в зипуне и валенках, весь дрожал, и слова у него вылетали скомкано, захлебываясь:

— ...и еще одного, барин, только что... matka слабая, не поднимается... а эти... совсем синие, не дышат... Петрович ревет, говорит, все, пропащее дело...

Пелагея, крестьясь, причитала у стены. Рядом стоял Анисим Иванович, управляющий, и лицо его было мрачнее тучи. Он что-то бубнил, глядя в пол, и я уловила обрывки:

— ...мороз, Николай Сергеевич, лютей... в овчарне хоть и топили, но стены ледяные... природа... не уберечь...

Мозг, еще вязкий от сна, начал лихорадочно складывать пазл. Мороз. Овчарня. Новорожденные ягнята. Гибель.

Вот оно. ЧП. Не кража овса, а прямые, осязаемые потери. Хозяйство несло урон. И барин, похоже, собирался бежать туда, в эту ледяную мясорубку, смотреть на смерть своими глазами и, вероятно, рубить с плеча, ища виноватых.

Он выпрямился, и его лицо в свете лампы было жестким.

— Ладно, — его голос резал тишину, низкий и безжалостный. — Идем. Будь что будет.

Именно в этот момент я сделала шаг вперед. Босые ноги ступили на холодные половицы прихожей. Все обернулись. Взгляды – усталый и гневный у Николая, испуганный у парнишки, удивленно-неодобрительный у Пелагеи, настороженный у Анисима Ивановича – уперлись в меня. В мою растрепанную голову, ночную сорочку и босые ноги.

«Молодец, Лиза, — пронеслось в голове. — Идеальный образ: сумасшедшая барышня в ночи. Еще чуть-чуть, и начнут солью кидаться».

Но слова вырвались сами, еще до того, как страх успел их задавить.

— В теплице, — сказала я, и голос мой прозвучал хрипло, но четко. — Сейчас там плюс. Печь топится. Земля теплая. Доведем до плюс двадцати.

Все замолчали, не понимая.

— Это шанс, — выдохнула я, глядя прямо на Николая Сергеевича. — Перенесите овцематку с новорожденными туда. Хотя бы самых слабых. Сейчас же.

В прихожей повисла тишина, которую можно было резать. Даже Пелагея перестала причитать. Анисим Иванович смотрел на меня, как на полоумную.

— В оранжерею? — переспросил он, и в его голосе прозвучало самое настоящее, неподдельное изумление. — Скот? В барскую забаву? Да вы, барышня...

— Это не забава, — перебила я его, уже обращаясь к Николаю. Помня свой промах с «азотом», я старалась говорить проще, но не менее уверенно. — Это единственное теплое помещение кроме дома. Там сухо, нет сквозняков. Можно застелить пол соломой, сделать временные перегородки. Это даст им шанс отогреться, окрепнуть. Если оставить в овчарне, то они погибнут все. Это факт.

Я видела, как в глазах Николая Сергеевича борются привычный порядок вещей, страх насмешки («барин овец в цветы переселил!») и холодный, хозяйский расчет. Он смотрел на меня, и в его взгляде не было уже ни усталости, ни гнева. Был тяжелый, мучительный выбор.

— Там твои грядки, — сказал он тихо. — Твой... эксперимент.

— Грядки подождут, — парировала я, чувствуя, как внутри все сжимается в тугую, решительный узел. — А ягнята – нет. И овцематка – ценный хозяйственный ресурс.

Последнее, видимо, стало решающим. Он резко кивнул, взглянул на управляющего.

— Анисим, бери людей. Всех, кто на ногах. Носилки, солому, старые половики. В оранжерею. Немедленно. — Потом обернулся к парнишке: — Ты, веди. Покажешь, кого брать в первую очередь.

Суэта, мгновение назад застывшая, взорвалась с новой силой. Но теперь это была не паническая беготня, а организованное движение. Я метнулась назад, в комнату, натянула чулки, валенки, накинула поверх сорочки первое попавшееся платье и тулуп. Через пять минут я уже бежала через двор к теплице, обгоняя мужиков с охапками соломы.

Холод был адским. Воздух обжигал легкие, словно состоял из ледяных игл. Мороз, и правда, лютый.

В теплице было по-прежнему тепло и влажно. Печь мягко потрескивала. Моя драгоценная грядка, засеянная укропом, мирно спала под слоем темной земли.

— Сюда! — скомандовала я, указывая на свободное пространство у дальней стены. — Расстилайте солому толстым слоем! И побыстрее!

Мужики, еще не до конца понимая, что происходит, но привыкшие слушаться приказа, засуетились. Через несколько минут пол был застелен золотистым, пахнущим летом ковром.

Овцематку принесли на носилках, согнутых из досок и тулупов. Она была огромная, тяжелая, с мутными от боли и слабости глазами. Рядом, в тряпках, несли крошечные, мокрые комочки: ягнят. Некоторые уже не двигались.

Сердце сжалось. Я отбросила в сторону все мысли о приличиях, о своем месте. Здесь и сейчас я была тем, кто знал, что делать.

— Аккуратнее! Кладите матку вот здесь, подальше от печи, чтобы не перегрелись. Ягнят рядом, но на сухую солому! — я наклонилась над одним крошечным тельцем, синим и бездыханным. Инстинктивно приложила ладонь к груди. Холод. Но... слабый, едва уловимый толчок? Или показалось?

— Пелагея! — крикнула я, не отрываясь. — Шерстяные тряпки, мягкие! И теплой воды, чуть теплой, не горячей!

Она, уже стоявшая в дверях с огромным узлом тряпья, кивнула и бросилась исполнять.

Я взяла того синего ягненка на руки, завернула в край своего тулупа и стала нежно, но интенсивно растирать его грубой, но сухой тканью. Дыши. Дыши, черт тебя дери. Ты не имеешь права умереть, когда я здесь, когда у меня есть теплица.

Из глубины памяти всплыли обрывки знаний: гипотермия, согревание, важность сухости. Я не ветеринар. Я агроном. Но жизнь — она везде жизнь. Принципы те же: тепло, влажность, питание.

— Вот так, — сказала я громко, чтобы слышали все вокруг. — Растирать, но не давить. Согревать дыханием. Главное — отогреть середину, грудку.

Я сама дышала на крошечную мордочку, растирала лапки. И вдруг слабый, жалобный звук. Потом дрожь. Потом он зашевелился.

— Живой! — выдохнула я, и голос мой сорвался. Я передала его Пелагее, которая уже обкладывала других ягнят теплыми тряпками. — Держите, заверните, согревайте.

Работа закипела. Мы создали импровизированный родильный дом под стеклянной крышей. Николай Сергеевич не лез, он стоял у двери, отдавая короткие приказы, его лицо было непроницаемым, но глаза следили за каждым движением. Он видел, как мужики, сначала нехотя, потом все азартнее, растирали ягнят, как Пелагея и Аня хлопотали вокруг овцематки, поила ее теплой водой с отрубями.

В теплице стало тесно, пахло сырой шерстью, молоком, жизнью и навозом. Мой укроп, наверное, в шоке. Но это было неважно.

Через час худшее, казалось, миновало. Три самых слабых ягненка, которых мы сочли погибшими, ожили. Они пищали, неуверенно тычась мордочками в вымя матери. Овцематка, согревшись, начали беспокоиться о потомстве. Влажный, теплый воздух был наполнен теперь не только запахом земли, но и гулом жизни: тихим блеянием, сопением, шорохом соломы.

Я отступила к стене, вытирая пот со лба. Руки дрожали от напряжения. Я посмотрела на свою грядку: она была в полном порядке, лишь немного затоптана у края. Ничего. Вырастет.

Николай Сергеевич подошел ко мне. Он молча смотрел на эту странную картину: под стеклянным небом, среди зимней стужи, копошилось спасенное стадо. Потом перевел взгляд на меня.

— Троих отвоевали, — сказал он просто. — Из пяти безнадежных.

Я кивнула, не находя слов. Просто кивнула.

— Ты, — произнес он тихо, так, чтобы слышала только я, — сегодня спасла не только ягнят. Ты спасла мне... очень многое.

В его голосе не было пафоса. Была констатация. И благодарность. Настоящая, без подвоха.

Он обернулся к Анисиму Ивановичу, который смотрел на все это с каменным лицом, но в глазах его уже не было прежнего скепсиса.

— Оставляем их здесь, — сказал барин. — Пока не окрепнут. Держим печь в тепле, но не жарим. Смена у тепла постоянная. Лизонька руководит. Все ее указания как мои. Понятно?

— Понятно, барин, — глухо ответил управляющий. И кивнул мне. Коротко, по-деловому.

Николай Сергеевич на мгновение задержал на мне взгляд: короткий, оценивающий, будто проверяя, выдержу ли я груз этого «руководства». Потом резко повернулся к остальным, замершим в дверях.

— Анисим и остальные, за мной. В овчарню. И в конюшню, — его голос, хриплый от усталости, прозвучал с новой, стальной силой. — Будем утеплять, что можем. Досыпать солому до потолка. Коней под попоны, всех, до одного. И чтоб до утра печи там не угасали. Никто не спит. Работаем, пока мороз не отступит.

Это был организованный отход войск на новый рубеж обороны. Мужики, еще минуту назад охавшие над ягнятами, посерьезнели, перекинулись взглядами и потянулись за тулупами. Анисим Иванович, кивнув в мою сторону уже без тени сомнения, двинулся за барином.

Дверь скрипнула, выпустив в ночь клубы пара и решительные силуэты, и захлопнулась. Снаружи сразу послышались отрывистые команды, скрип снега под валенками, удаляющиеся голоса.

В теплице воцарилась внезапная, звенящая тишина, нарушаемая только потрескиванием поленьев в печи, сопением овцы и тихим поскуливанием ягнят. Да собственным сердцебиением где-то в горле.

Я осталась одна. Ну, или почти одна. Только дежурный – молодой пастушок Игнат, тот самый, что прибежал с новостью, – остался сидеть в углу на чурбаке, ссутулившись, но настороженно, готовый в любой миг подбросить дров в печь. Он смотрел на меня исподлобья, в его глазах читался и остаточный испуг, и робкое любопытство.

Вот оно, «руководство». Весь усадебный мир замер в ожидании рассвета и отпора стуже, а мне выпало сторожить этот хрупкий, теплый островок жизни посреди ледяного моря. Ответственность легла на плечи тихо, но неотвратимо, как снег на стеклянную крышу.

Я подошла к своей грядке, поправила землю у края, где прошелся чей-то валенок. Потом обернулась. Это было уже не баловство. Не эксперимент. Это было дело. Настоящее, тяжелое, пахнущее жизнью и смертью. И я, невольно, стала его частью.

Где-то там, во тьме, маячила проблема по имени Никита. Где-то там ждала своей очереди моя клубника. Но сейчас, в этой стеклянной крепости посреди лютого мороза, было тихо и тепло. И пахло надеждой.

Сильнее навоза.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.